

Николай ДИМЧЕВСКИЙ

**ВЕЧНОЕ
ЧУДОДЕЙСТВО**

МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1981

Книжка писателя Николая Димчевского, перу которого принадлежат сборники прозы «Калитка в синеву», «Июль на краю света», «Летний снег по склонам» и стихи «Прорубь», «Краски Севера», «Облик странствий»,— художественно-документальный рассказ о мастерах, которых автор узнал в труде. Среди них каменщик, лапотник, бондарь, скульптор-архитектор... Повествуя о них, автор рассказывает о чуде созидания, свидетелем которого был. Встречи эти разделяет пространство и годы, но есть общее, что роднит мастеров, — внутренняя соединенность с делом жизни, душевная связь с профессией.

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРЯЮЩИХ СЛОВ

Случается, возьмешь привычную вещь, которая всегда была дома... И вдруг захочется увидеть ее начало, тот миг, когда безвестный мастер дотронулся до куска глины, до обрубка дерева, до листа железа — и совершилось чудодейство, благодаря которому появился мир, окружающий нас ныне; и захочется представить, какие руки создавали его, какие глаза искали форму... И начинаешь сердцем понимать, что каждый камень города, каждый вершок мостовой, все чудеса техники, сопровождающей, облегчающей и улаживающей наше бытие,— все плоды человеческой мысли и рук, все сделано для нас, все привычно и неотрывно от нашей каждодневности, все вросло в нашу жизнь, стало обыденным и уже не замечается, а это значит, что сделано оно мастерски, ибо только сделанное мастерски, кажется, возникшим само собой. Грубая поделка колет глаз. И чем древней город или село, тем больше мастеров трудились над ними...

На дороге, пронизавшей поля, вспоминаешь, как тут день и ночь урчал трактор, перетрясая эту землю, взбивая и пестуя ее, помнишь короткий и точный взгляд тракториста, руки его, наклон головы... Он дал жизнь зеленым и колосьям, он оживил и взлелеял эту ширь...

В цехах заводов, сложностью жизни и населением похожих на целые города, видишь сокровенные превращения руд, металла, газа и иных природных веществ, обретающих формы современных материалов и машин, отсюда, из глубин производства входящих в наш обиход, в нашу повседневность...

И предстает огромность труда тысяч безвестных людей, огромность усилий, создавших современный мир. И сердце сжимается от сознания собственной малости по сравнению с этой мощью, возведшей города, прочертившей квадраты полей, приготовившей пищу, одежду, жилье для сотен миллионов...

И удивляешься не поразительным машинам, о которых не мечтали и сказочники, не безмерным полям, не дорогам,

опоясавшим континенты, — удивляешься Мастеру, который все это сделал, его упорству в труде, безграничности его усилий, великому терпению, кладущему бесчисленное количество кирпичей, блоков, шпал, рельсов, грандиозному повтору, создающему современный облик нашего мира.

Пусть Мастер безвестен, но настоящая вещь всегда говорит о своем творце, ибо, создавая ее, человек передает ей свой характер, свою душу. Не в этом ли мера людских творений? Не в этом ли предупреждение для тех, кто превратил вещи в идолов, в кумиров, кто поклоняется им, кто вещам предпочитает живую человеческую душевность, кто забывает человека ради вещей?.. Созданные с душой вещи не терпят равнодушных, протестуют против бессмысленного накопительства, теряя свое предназначение служить людям.

В неохватной теме созидания я беру лишь несколько штрихов. Мне хочется рассказать о Мастерах, которых узнал в труде, рассказать о чуде, свидетелем которого был. Встречи такие случались неожиданно, они удалены друг от друга на тысячи верст и десятки лет, но что-то общее роднит вовсе разных людей, встреченных мной. Это общее — внутренняя соединенность со своим делом, связь, разрыв которой равносильна небытию. И видно, в этом кроется тайна вечного чудадейства, создающего наш мир в великом и малом.

СОРОК ЧЕТЫРЕ КЛЕТКИ

Он тощ, мал, как тщедушный подросток, что-то в нем комариное, что-то от сохлой былинки, от паутинки, готовой порваться. Лишь руки непомерно велики: пальцы крупные, задубелые, с крепко всаженными пластинами ногтей; ладони жестки, прорезаны черными трещинами, синие жилы прочно вплетены под кожу цвета осенней глины. Когда он протягивает руку, меня берет оторопь — кисть, словно чужая, приставлена к тоненькой березовой палочке, высунувшейся из обтрепанного рукава когда-то синей рубахи.

— Здорово, Миколай, значить, в ученье ко мне пришел? Во, гляди-ко, в школе учисси, а у мене, няграмотного, выходить, тоже уроки? Ну, дяла...

Почти не разбираю его тонкого голоска, вижу только руку со слегка согнутыми, не разгибающимися до конца пальцами. И вдруг понимаю, что это и впрямь не его рука... Была когда-то его — тогда старик выглядел круглым, сбитым крепышом и мог этой рукой кинуть двухпудовик... Старость, военная голодуха, гибель сыновей превратили его в сохлую былинку, а руки чудом остались прежними.

И все смотрю на них, не могу оторваться — и боязно, и жалко, и хочется чем-то помочь, и нечем — сам пришел за помощью.

Его пожатие неловко, неуверенно. На моей почти детской еще ладони долго живет память о царапающих пальцах, словно опасующихся причинить боль и потому неуверенных. А может, неуверенность от иного — самих этих рук уже коснулось бессилие остального тела...

Вот он как-то суетливо, беспомощно топчется на одном месте, хочет еще что-то сказать, но не может; тощая борода дрожит, глаза закрываются, он загребает воздух рукой,

— Ну... это... Миколай... Это... идем лыко подбирать...

В избе сумрачно от густого тополя, загородившего свет, и старик словно бы растворяется в зеленоватом неверном дрожании, льющемся из низких окон.

В сенях через щелястую дверь, ведущую во двор, лучи как ножи — глазам больно.

А за дверью — солнце, теплый ветер, мощный, нестихающий шум тополиной листвы. Среди этих стихий старик, кажется еще меньше, тоньше, — того гляди, солнце вконец иссушит его невесомое, высохшее тело и ветер унесет вместе с дорожной пылью и тополиным шумом.

Опасливо ступая в своих порыжелых разбитых валенках, он идет через пустой двор, по которому крутятся старые перышки да сенная труха, к навесу из раздерганной, позеленелой

соломы. Там на колышках, воткнутых в плетень, висят баранки липового лыка, медово-желтые снаружи и буро-темные внутри. Старик снимает одну из баранок, она поскрипывает и оттягивает руки, он топчется, словно не зная, что делать, забыв, зачем сюда пришел и к чему это лыко...

На припеке в углу между плетнем и домом — большой черный ушат с черной водой; в нем плавает такая же, но размокшая уже лыковая связка. Старик подковылял к ушату, взял лыко и сунул туда сухое.

Густая тягучая вонь перетухшей воды и прокисшего мочала ударяет в нос. Хочу отвернуться, но вижу, что старик даже не замечает тошнотворного духа, и мне становится стыдно своей изнеженности — сам напросился в ученики и, не притронувшись еще, испугался. И чего испугался-то...

Старик стряхивает воду, неловким своим прыгающим шагом идет к приступку перед распахнутой дверью, не сгибая спины, садится на солнышке, жмурится; потирает поясницу и лишь потом, вспомнив, развязывает мочальную веревочку, стягивающую лыковую связку.

— Ну, Миколай, гляди — покажу с самого начала...

В руках его неизвестно откуда взявшийся истонченный до серповидности, бритвенно-острый «косной» ножик. «Косными» такие ножи называют потому, что делаются они из лезвия старой косы-литовки. На косы идет лучшая сталь, поэтому косным ножом при нужде можно даже бриться. Нож такой — несбывшаяся моя мечта...

Старик разгибает, расправляет лыко, и вот уже длинная дорожка протянулась с земли по ступеньке до тощих его колен. Он ставит нож торчком, лезвие ловко надрезает край лыковой полосы, и дед тянет левой рукой лыко мимо неподвижного лезвия, зажатого в правой руке; в сторону отваливается узкий ровный ремешок, быстро подсыхающий на теплом ветру.

Движения старого лапотника так просты и уверенны, что работа эта кажется пустяком, и я почти не замечаю уже, как

отваливается второй и третий ремешки. Становится даже скучновато... Чему тут учиться и что это за ученье...

— Накось нож-то, испробуй, как строка режется.

Мне показалось чудным это название — «строка» — в применении к лапотной заготовке. И лишь много позже я понял истинный смысл выражения «не всяко лыко в строку». Значит, не из любого лыка можно сделать строку, заготовку для лаптей. И вовсе уже иной смысл у современного «всякое лыко в строку». И лыковая строка, конечно же, существует раньше, чем строка печатная. Это, выходит, типографские строчки называли по-лапотным...

Рукоятка ножа гладкая до скользкости, отполированная ладонью старика и широкая. Не привык я к такой (у меня узкий перочинный ножичек с железной ручкой, и пальцы обвыклись с ней, а тут совсем новый для меня инструмент).

Сажусь на приступку, нож упираю в колено, как мой учитель, подтягиваю левой рукой узкую уже полосу лыка, надрезаю и начинаю тащить через лезвие. И только тут оцениваю мастерство старого лапотника. Дело, оказывается, вовсе не простое и не легкое.

Лыко не ровно по толщине, пробито мелкими и побольше дырочками от сучков, смято изломами, его волокна переплетены и скручены. Лезвие норовит пойти по волокну — ползет вслед за ним, в сторону, скользит вдоль гладких и крепких лыковых жил, строка получается кривой, разлапистой.

Не отрезав и полуметра, я взмокаю от напряжения, разуверяюсь в своих силах и способностях, теряюсь под взглядом мастера, готов бросить все и отказаться от учения...

— Вяди нож-то, вяди, — подсказывает старик, — он у тебе сам ползеть, а ты яво вяди, как быка норовистого...

Стискиваю рукоять, нагибаюсь, медленно тяну полосу, отмеряя взглядом расстояние от края до лезвия, изо всех сил стараюсь вести ровней; вижу гладкий без задоринки край, оставленный стариком, и понимаю, что не скоро научусь резать так же.

— Ну, ладноть, шабаш! — говорит дед, когда я, умучившись, кое-как закончил последнюю строку.— Ет ты посла наловчисси, не бось. Надери лыка в лясу и порежь, порежь: наловчисси... Я б тебе лыка-то дал, да мне в лес-то больно тяжело итить. Как летось вясной надрал, так осталось вот... Ну, мы с тобой вместиа ишо сходим в лес-то за лыком, не все мне в дому-то сидеть...

Тревожно гудят над головой тополя, старик смотрит на солнышко, щурится, топчется, отгребает большой рукой ветер, вспоминает что-то свое, ищет запамятованные слова.

— Бывалоча... с сыновьями за лыками-то ездили в Казенный лес. На всю зиму запасали... Не то, што нынче... Ребята у меня были висо-о-окаи, с тебе ростом, но покрепше, поширьше так... Сергей и Юрий. Об обоих похоронные пришли летось. В один месяц обои и погибли. В месяц май.

Он замолкает. Видно, все перегорело в душе его, и лицо не меняется при этом воспоминании. Ветер треплет бородку, синеватые губы неподвижны, глаза остановились на ворошке лыковых строк.

Много похоронных в нашем селе. Каждый ручеек горя вливается в общую реку, растворяется в ней; каждое горе как бы уравнивается общим большим и глубоким несчастьем.

И заботы наши, когда прикасаешься к этому горю, кажутся ничтожными, хоть и все связано одним узлом в тяжелое военное время. И меня к старику привела нужда. Наш дом полон детишек — моих двоюродных братьев, эвакуированных из разных прифронтовых мест. Они разуты, а осень не за горами. И мы решили обуть их в лапти, и мне, как старшему и склонному к мастерству, посоветовали обучиться лапотному делу.

— Ну, ладноть, — встрепенулся старик.— Идем в избу, начнем плесть, сколь сегодня сплетем.

И опять мы в зеленом сумраке избы, в тишине, едва нарушаемой прибоем тополиного шума.

Откуда-то из запечья старик достает лыковый кошель, копается в нем, вынимает кочедык, главный и, пожалуй, единственный инструмент для плетения лаптей: на круглой короткой ручке — изогнутый железный клык, отполированный в работе. У нас дома без дела валялся такой же, и я долго не мог понять, что это за штука, а теперь радовался, что владею настоящим кочедыком.

Потом старик выдвигает низкую скамеечку и, кряхтя, пристраивается у окна. Видать, это всегдашнее его, давно облюбванное и привычное для работы место.

— Вот, Миколай, какие дяла, — задумчиво поскрипывает он, перебирая лыки. — Возьмесси лапти плесть, коль нечего есть. Так-то в старину говорили.

Быстрым и точным движением проверяет лычины, пропуская их между пальцами, и несколько торжественно объявляет: «Плесть начнем о пяти строк».

Берет три узких лыка и переплетает их двумя другими. Получается что-то вроде разлапистого паучка с крохотной спинкой и длинными ногами.

— Начинаем с пятки плесть, — не снижая торжественности, говорит старик, и я тоже настраиваюсь на приподнятый тон. Начало дела всегда празднично.

Он берет одну из строк, загибает и пропускает под остальные, затем вторую, третью... И вот уж я узнаю запятник лаптя. Строки загибаются по краям, переплетаются, и под пальцами возникают ровные — одна к одной — клеточки. Лыки мелькают, кажется, посвистывают даже от иного быстрого движения, и нарастает подметка лаптя, которую мастера зовут «плетень».

— Ну, таперя испробуй, как начинать-то, — остановился старик, вспомнив, что не просто плетет, а обучает. — Вместях плесть станем — гляди, как я, и сам пля-ти...

Выбираю пяток лычин, переплетаю и вижу, как хлипко, щелясто получается. У деда запятник сразу как бы сросся,

образовав четкую о шести клеточках площадку, а у меня строки ползут, расходятся...

— Ничаво, — подбадривает он, — не бось, не разом складно-то выходить. Помучисси, тады и науяисси.

Загибаю, лычки, путаясь, поминутно спрашиваю совета; запятник получается кое-как, плетение мое больше походит на решето, чем на лапоть. Делаю вроде бы все так же, как мастер, а не выходит, да и только.

— Подтягивай, подтягивай, Миколай! — Дед нетерпеливо берет мою растрепу, два-три неуловимых движения — и запятник обретает добротный лапотный вид.

Пока я, потея, примеряясь, с горем пополам, хлипко и медленно веду расплзающиеся строки, старик уже заканчивает плетень — гладкую, аккуратную, будто шахматная досочка, подошву.

— Таперича надоть на колодку сажать. Головашки я по колодке пляту — складней выходят. Но пока — шабаш. Исть будем. — Он встал со скамеечки, трудно разогнулся, потер поясницу, побряхтел. — Ма-ать! — кинул куда-то в полутьму сеней. — Чаво ба поисть нам с Николаем?

В те годы сытости я никогда не испытывал, есть хотелось всегда. Слова деда вселили волнующее ожидание. И все же я понимал, что еды у стариков в обрез, я сознавал, какой потерей может стать для них угощение чужого малого. Последнюю летошнюю картошку по всем дворам уже считали на штуки (до новой было еще недели три). И я, сердцем чуя, что совершаю поступок, о котором долго стану сожалеть, через силу отказался от еды, соврал, что сыт и обед меня ждет дома.

Но пока я бормотал эту заведомую ложь, в избу вошла старушка, такая же сохлая, как дед, но повыше ростом. Она робко поздоровалась со мной, перекрестилась в сумрачный угол и юркнула к печке, где загремела заслонкой и задвигала чугуном по загнетке. Вскоре она внесла этот самый чугунок и вывалила на скобленный стол горку сладко дымящихся картошек.

— Садися, чаво там сыт. Таперя сыти не бивають, — строго сказал старик.

Бабка внесла еще обливную глиняную чашку с козьим молоком (у них была коза) и три почерневших деревянных ложки.

При взгляде на чашку и эти три ложки отказываться у меня не достало сил. Уселся на лавку рядом с дедом, взял картошину поменьше, стал чистить.

— Соли вот нету. Угостили бы солюшкой, да нет ее. А картовь-то есть ишо.

Он первым зачерпнул ложку молока из общей чашки и, откусывая жгучую картошку, запивал маленькими глоточками.

Дымящаяся горка уменьшалась быстро. Потом, на закуску, мы медленно дочерпывали необыкновенной вкусноты молоко и тянули его из ложек, отвалившись к стене.

И тогда старик перенесся в иные времена, в даль, которая представилась мне чем-то доисторическим, почти невозможным.

Он в молодости, оказывается, пешком ходил на заработки в Петербург, в Ригу и Вильно. На все путешествие плели шесть пар лаптей. Подшивали их даже кожей, когда случалась в хозяйстве кожа. Старик похвалил подшитые лапти за то, что в сырую погоду они промокали не вдруг, как неподшитые, а терпели. В неподшитых же ноги всегда в сырости. Правда, вода в простых лаптях не задерживается, вытекает, а если подшитым зачерпнешь, то разуваться надо, выливать. Но все равно обувь эта была единственной и выручала мужика в любую пору. Так что без лаптей и свет бы не посмотрел, и ничего заработать бы не сумел.

Надреснутый голос его звучал в зеленой полутьме словно бы из другого мира, и сам он как бы растворился во времени, отлетел в дали, никому теперь не доступные. Не верилось, что эти вот слабые ноги, которые-с трудом переносят его по избе, отшагивали в лаптях до неведомых городов. И самое слово — путешествие — в его устах обрело первоначальный смысл: по

пути шестивие. И мне представлялся этот путь: еще в снегу, до весенней распутицы, и мужики, шествующие по нему; их ноги в онучах, перетянутых оборами, и неуклюжие следы лаптей, протянувшиеся из-под Рязани к балтийским берегам.

Старик довольно долго плавал в прошлом, выныривая оттуда с какой-нибудь диковиной, и я удивлялся этому чуду — давнему миру, во всех подробностях живущему под его лбом, где морщины, как борозды на тощем суглинке.

Послеобеденное благодушие и беседа на отдаленную тему принесли отдохновение. Старик перебрался на скамеечку к окну, порылся в кошеле и достал колодку, примерил к лапотной подошве — как раз подошла.

Замелькали пальцы, зашуршал веер лыковых строк, глядь — и головашка готова, аккуратно загибаются желтые полоски, рисуя простой четкий узор по краю лапотного носка. Липовая колодка помогает подчеркнуть объем и красоту плетения. Да, красоту. Не вдруг нашлось это слово для стариковского изделия, но когда оно всплыло, я обрадовался. Никак иначе его нельзя было назвать. И еще там было изящество и даже изысканность, хоть и странно звучит такое применительно к лаптю. Но ведь главное не в названии изделия — в мастере, не в том, что он плетет, а как плетет.

Старик уважал свое ремесло, знал его тонкости, малости, без которых нет красоты, и никогда ни под каким предлогом не опускался ниже раз и навсегда определившейся меры. Потому-то в лапотном ряду на базаре его товар разбирали с утра — не приходилось сидеть весь день, зазывая покупателей, языком восполняя недостатки своего уменья.

И хоть на продажу он давно не плел, слава осталась за ним. Когда меня отряжали обучаться лапотному делу, не колеблясь, назвали этого мастера...

Но он не помышлял о славе, он плел лапти.

Итак, до самых головашек работа исполнялась одними пальцами. Наконец пришел черед инструмента. Дед взял с подоконника кочедык, обтер его серебряно-ясный зуб о портки,

вогнал промеж подметочных строк и протянул в образовавшийся паз одну из лык, потом таким же манером пробил дорожку для другой, третьей... И головашка прочно приросла к плетню. А кочедык все посверкивал зеленоватым огоньком, помогая протаскивать строки. А подметка уплотнялась, утолщалась, обретая свой второй ряд, и лапоть становился все представительней и краше.

Потом старик проплел с боков кайму, называемую обушником, провел ее к запятнику и завязал оборник — петельку, в которую продеваются оборы — веревочки, оплетающие ногу до колен наподобие того, как это делалось в Древнем Риме, когда надевался классический сандалий. Отличие в том, что оборы держат не только лапоть, но еще и онучи, которые наматываются, прежде чем надеть самый лапоть, на ступню и выше, до колен же. Онуч Древний Рим не знал, хоть лапотная справа значительно древней Рима и всей античной культуры — лапти появились еще в доисторические времена — есть кочедыки, оставшиеся от каменного века.

Завершив дело, старик отодвинул лапоть от глаз, оглядел его со всех сторон.

— Вот те и баретки — сорок чатыре клетки, — помолчал, заметив какой-то одному ему видный изъян, и сказал задумчиво: — Начали с запятника и кончили на запятнике — откель вышли, туды и пришли...

Он вытащил колодку, помял лапоть, и тот глуховато, по-особенному заскрипел — так отзываются лишь новые, ненадеванные лапти, в их звуке есть даже некая мелодичность, есть что-то вкусное.

После нескольких уроков я начал плести сам, обул своих братцев, они бегали в лапотках. Но изделия мои, несмотря на старания, даже отдаленно не напоминали произведения старого лапотника. Думаю, что в базарный день их и за грош никто б не взял.

Тем с большим почтением и с безнадежной завистью стал я относиться к старику. В тот первый день, сначала сгоряча,

глядя на его руки, я был уверен, что смогу сделать так же. Но лишь пройдя учение, наплотив никудышных лапотков, я понял, что смог бы в лучшем разе стать лишь ремесленником самого низшего пошиба.

Понял я еще и другое — впервые, наверное, понял завораживающую силу настоящего мастерства, приобщился к удивлению перед человеком, который из ничего, из пустяка, из лыка творит красоту, загляденье...

Прошли десятилетия. Мастера давно нет в живых, и лапти давно называют по-французски «сувенирами», и давно их не носят всерьез, и они стали редкостью. А я все вижу тот день, зеленый сумрак избы и большие руки, ловко, весело ведущие лыковую вязь, слышу сквозь шум тополей слабый, надтреснутый голос: «Вот те и баретки — сорок чатыре клетки»...

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КОРЕНЬ

*Памяти московского архитектора
Петра Ивановича Фролова*

У него домашняя мастерская была в стенном шкафу. Столик, табуретка, ящик для заготовок, полки...

Грузноватый, высокий, сильный, он влезал туда, втискивался, как летчик в кабину самолета. Зато здесь все — только руку протянуть.

Не часто нужное — алебастр, клей в жестяных коробочках, морилки в пузырьках, бутылки с лаком — на верхней полке. А инструменты — резцы, ножи, ножички, долота, сверла, наждачные круги и бумага, жесткие кисти и щетки для полировки — рядом.

Этот шкаф-мастерская — как домашний батискаф, погружающийся в глубины форм и материалов.

Загоралась лампа, выдвигалась лупа на шарнире, в крупных пальцах появлялся крохотный скальпель или резец, выточенный

из надфиля. На верстаке — белая пластинка. Осторожные, почти неуловимые движения. Если сесть за стол в комнате и оттуда посматривать на мастера с расстояния в несколько шагов, покажется, что он неподвижно сидит, просто сидит и разглядывает через лупу белую пластинку. И только нагнувшись вместе с ним к увеличительному стеклу, можно было бы увидеть, что он вырезает глаз на маленьком барельефе, изображающем женское лицо. Верней, даже не глаз, а верхнее веко. Тончайшие стружечки осыпаются из-под резца, а потом скальпель начисто выправляет сделанное.

Два часа работы, результат которой виден лишь ему или такому же, как он, мастеру. Профан, рассмотрев барельеф до и после, не нашел бы разницы, ему показалось бы, что все вполне завершено, — так тонок и выразителен миниатюрный профиль. Но мастер, услышав такое мнение, лишь добро и басисто хохотнул бы и объяснил, что это пока только грубый эскиз, почти заготовка, и дела тут непочатый край.

Он вытаскивается из шкафа, распрямляется, и большая комната сразу становится меньше, тесней — так крупен ее хозяин, такой доброй силой полнятся его движения. Разбрасывает руки, потягивается, боксирует и вдруг легко встает на локти и голову, поднимает ноги, шагает в воздухе.

В юности он работал в бродячем цирке.

Главное дело его — архитектура. Объемы новых зданий, полотнища чертежей, целые города на ватмане и в макетах. Безлюдные сопки, таящие дремучую красоту и дерзкое желание заложить фундаменты у их подошв, поднять кубы заводов и башни жилья, не поранив красоты, сомкнуть современный бетон с вековыми пихтами, чтоб здания отражались в чистых водах первозданных озер. Найти неповторимые сочетания стандартных плоскостей-клеточек, чтоб в новые города пришла непохожесть. Отыскать тайну соизмерений человека и каменных громад, чтоб не было одиноко душе и глазу, и человек всегда чувствовал бы себя уютно...

Это все днем. А вечером, дома — крохотный барельеф, античное лицо под лупой. Смена простора на одну точку, намеченную резцом, отдых в мастерстве другого рода.

И еще литье, скрупулезность ювелирного дела. Газовая плита, горелка с поддувом, приспособленная для плавки драгоценного металла. Дрожит тяжелая красновато-желтая капля. Форма, сделанная по слепку со старинного княжеского перстня. Быстрая золотая змейка, скользящая из тигля. Минуты ожидания, нескончаемо тягучие, нетерпение посмотреть, что получилось. Молоток, хрупкие крошки разбитой формы. Уверенный, массивный проблеск благородного металла. Наскоро скovyрнуть ногтем остатки гипса... Первый взгляд на двойника древнего перстня...

Потом вечера с мелкими надфилечками, с тончайшими наждаками, с подушечками, умощенными алмазной пастой, с бархотками. Самая радость и любопытство: расчистка, шлифовка, полировка, вылушивание из отливки; последние штрихи, как шаги, завершающие долгий путь, утомленные и сладостные.

И вот пир в честь окончания работы. Перстень в старинном бокале с золотистым вином. Друзья, разглядывающие драгоценность через ломкие грани хрусталя. Потом перстень на пальце — тяжелым куском солнечного света, и мастер, угощая гостей, не может оторвать взгляда — смотрит, сравнивает с тем, подлинно древним, наслаждается сходством, которое удалось схватить, оставить у себя, радостью чувствовать на пальце форму, созданную русским мастером несколько веков назад. К черту годы, лысину, вставные зубы! Все чепуха. Главное, что сделано, — ха-ха-ха! — сумел поспорить со стародавним ювелиром!

Он любит радость начала и торжество окончания — погружение в неизвестность и открытие новых берегов. Именно самое погружение и открытие, но не эффект для сторонних, не желание «произвести впечатление», «сорвать аплодисменты».

Однажды всей мастерской пировали после присуждения крупной премии за проект, участвовавший в конкурсе. Большой ресторан, десятки гостей. Когда он показался в дверях, раздались аплодисменты. Он не выносил ничего ритуального, помпезного: тут же встал на четвереньки и под веселый гул своих сотрудников пошел к праздничному столу. Какой-то чин из главка едва не упал в обморок. Но ведь тут было веселье, радость окончания трудного дела, а не казенная обедня...

Там внизу, в ящичке, — колодки для дамских туфель, сделанные по ноге жены. Они запылились, давно лежат без дела. Он их выточил в сорок пятом, когда вернулся с войны. Сам в кирзе, в старой гимнастерке (все довоенное погребло в пожаре на старой квартире, долго еще таскал фронтовое), но ужаснулся, увидев, какие ошметки носит его красавица. Раздобыл на толкучке все нужное для сапожного дела, зашел к знакомому сапожнику-однопольчанину — вместе демобилизовывались, — поприсмотрелся, попримеривался. После долго копался: кроил, шил, давил, подбивал, клеил, лакировал.

Он делал туфли, как ювелиры чеканят драгоценную вазу. Они и выглядели как драгоценность, да и впрямь были драгоценностью. Многие помнят их до сих пор, по прошествии десятилетий. Жена его в пожилом возрасте сокрушалась, что так легкомысленно износила эти туфли — их надо бы поставить в домашний музей вместе с миниатюрами, перстнями, украшениями, гипсовыми фигурками и другими его произведениями.

Эти «другие» — страсть, обретенная уже в зрелые годы.

Было золото, серебро, слоновая кость, сафьян, юфть, замша, была медь, бронза, янтарь, был гипс, алебастр, мрамор, была глина, пластилин, пластмасса, эбонит, но все отступило перед деревом.

Не скоро он нашел его, лишь во второй половине жизни. Случилось так: где-то за городом, у речки, случайно заметил яркое красно-бурое пятно на раненом стволе ольхи. Цвет был

живым и сочным, не оторвешься. И вспомнились гипсовые небольшие скульптуры его, их анемичный госпитальный колер, их безразличная фактура. И мелькнула мысль — попробовать дерево, потянуло к живому, неизведанному материалу, поманившему через окошечко в коре. Вот тогда и привез домой ольховый обрубок и оставил сушиться.

Неторопко, неспешно все делалось — никто ведь ни о чем его не просил, никому не обещал он, не задолжал и материально от искусства своего не зависел. Ольха пролежала в передней год, а может, и два — в этом деле он не считал времени, — пролежала столько, сколько надо было для созревания интереса к новому материалу.

И однажды достал этот обрубок, темный на трещиноватых торцах, пыльный и невзрачный, опилил, оставив лишь нерастрескавшуюся середину. Ободрал кору, потрогал стамеской — открылась мягкая, податливая древесина, она была совсем белой, лишь сверху сок окрасил ее в глубокий бурый цвет.

Сами собой увиделись в продолговатом куске плавные переходы и округлые поверхности женского тела. Стамеска побежала, намечая грубо найденные, примерные объемы головы, торса, бедер, ног. И даже перед этой первоначальностью померкли гипсовые фигурки, ибо тут была живая плоть. Он сразу понял, что с гипсом покончено навсегда, и погрузился в дерево со страстью первопроходца, открывающего новую страну.

Слой за слоем осыпались с чуть слышным треском крупные круглые стружки. Обнаруживалось что-то первобытное, дремучее, подобие курганной каменной бабы со сросшимися ногами, плоской грудью и плоским лицом.

Все было неупорядочено, рыхло, шероховато, и на какое-то время даже вселилась неуверенность, показалось — не сможет проникнуть глубже, за эти первоначальные поверхности, не сумеет отыскать истинные объемы.

Он отложил заготовку и несколько дней не прикасался: боялся взглянуть, думалось, испортил кусок, а другого еще не было...

Но к дереву тянуло уже, влекло. Где-то на стройке, в обрезках опалубочного хлама, приглянулось желтое, пропитанное смолой полешко. Взял и успокоил душу — все-таки есть про запас, можно все начать сначала...

Вечерком вытащил из уголка свою скифскую бабу, пригляделся и вдруг открыл, что у нее закинута голова, а едва наметившиеся руки способны к напевному, плавному движению.

Достал стамеску потоньше и, как мог, освободил эти руки, но вслед за ними, чтоб по-настоящему их увидеть, пришлось выбрать лишнее на груди, на плечах, на шее, на животе. И прояснился жест, и дерево ожило, и теперь уже было не страшно за его судьбу. Он понял, что задуманное получится из этого, первого, куска.

Стружки все утоньшались, появился бритвенно-отточенный скальпель. Теперь за целый вечер работы деревянного мусора набиралось не больше щепотки, а поющая женщина становилась все невесомей.

И теперь он спешил к ней с нетерпением — завершить, довести до конца, до пределов самую последнюю, тонкую, почти неуловимую работу. Теперь даже скальпель груб. Поющая ожила, острое лезвие могло поранить ее. Здесь нужно другое.

Нежное дерево захваталось руками, тело «Поющей» проглядывало через следы инструментов и пальцев. Надо очистить ее, освободить от этих следов, чтоб она жила отныне уже помимо рук, ее сотворивших, чтоб забылся долгий путь ее появления на свет.

Он перебирал наждачные бумаги — от самой шершавой с зернами, блестящими, как песок, до самой мягкой, бархатистой. Он разложил перед собой еще напильники и надфили — треугольные, квадратные, круглые, плоские...

И когда нашел нужное и уже хотел прикоснуться к дереву, почувствовал себя так же, как в начале, перед куском с едва намеченными формами. Он понимал: сейчас, когда исчезнут следы инструментов и рук, с «Поющей» что-то произойдет. Он не знал, что и поэтому волновался, побаивался, не решался прикоснуться.

Тронул плечи, спину, огладил грудь, очистил руки... Присмотрелся... Вот ведь что случилось... Он никак не ждал такого и даже не думал, не предполагал... Проглянул тончайший ажур годичных колец с жилками, едва уловимыми, с продольными полосками, почти невидимыми, но создающими движение, струение снизу вверх по ногам, по бедрам, по рукам и плечам к подбородку.

Сам не подозревая, он, оказывается, прихотливым рельефом обнаженного тела раскрыл удивительный рисунок дерева, его игру, его причуды. Рисунок этот был так нежен и прозрачен, что, прослеживая его, мастер уже не знал, что же лучше — сама «Поющая» или ольха, столь щедро его одарившая.

В памяти всплыло сосновое полено, принесенное со стройки, яркие годичные кольца, обведенные янтарной смолой...

Разрасталось желание проникнуть в незнакомое, в неведомое, спрятанное под корой. Среди слоев, там, внутри, куда не дано заглянуть сразу. И в самой скульптуре оказалась важной не только форма, но и материал, и, может, даже форма существовала ради материала.

Богатство целой жизни — весен, цветения, брожения соков, летнего роста, земных солей и вод, небесной влаги и солнца — все в дереве. Пробраться внутрь, увидеть разом и сердцевину, когда оно было тростинкой, и могучие верхние покровы зрелости, силы, умудренности...

Он предвкушал новую встречу, но не торопился — завершал ольху, постепенно, до сокровенных слоев проявляя, просвечивая ее глубину. И лишь закончив тонкую фигурку «Поющей», отдохнув от ее нежной, утренней неуловимости,

взял большую, полукругом заточенную стамеску, чтоб начать новое погружение в незнакомое дерево.

Он знал: это будет «Вскинувшая руки», вырывающаяся из куска (низ останется нетронутым — с выщербом, заплывшим смолистой бахромой, с остатками рыжей коры, — чтоб сразу увиделась вся сосна — от этого первоначального обрубка до внутреннего сплетения слоев).

Первое прикосновение, примерное определение объемов сразу, тотчас обнаружило четкий, веселый рисунок сосны. Смоляные годичные кольца и светлая древесина были как янтарь и кость. На округлых поверхностях их линии смыкались кругами, вытягивались в эллипсы. Все глубже и тоньше снимая и оглаживая дерево, он с удивлением заметил, что может по желанию изменять рисунок, находить соответствие и симметрию.

На вершине правой груди он оставил от янтарного слоя маленький цельный кружок, а нижеследующий слой обрезался, как небольшое колечко, еще ниже за ним открылось кольцо пошире, потом еще шире. Кольца эти замечательно оттеняли объем, разнообразили форму. На бедрах и животе они вытягивались, как бы прочерчивая каждую мышцу, стремительно следуя за движением. Части, затаившие покой, круглились кольцами, а подвижные пронизывались удлинненными линиями, беспокойно и резко смыкающимися на сгибах.

Рисунок, который у ольхи едва наметился, как бледное кружево на белом, здесь звучал сильно и уверенно; было наслаждением проявлять его, такой открытый, радостный и грубоватый в своей откровенности. Стамеска и скальпель стали словно бы инструментами графики; тут сливались вместе объем и рисунок, дерево поворачивалось новой стороной, и мастеру не терпелось познать его откровения. Не отрываясь, не уставая, все глубже проникал он в эти удивительные слои и все трепетней проникался удивлением.

Тогда же в архитектурной мастерской было необычное задание: интерьер нового пассажирского самолета. Попросили помочь авиастроители. После привычных размеров зданий внутренность самолета казалась игрушечной, вроде скорлупки ореха. И в этой скорлупке нужно поселить людей, чтоб каждому было удобно и свободно, хотя пространство мерится на сантиметры. Какие тона, чтоб в долгом полете не устали глаза? Какие сочетания линий, какое расчленение пространства, чтоб не чувствовать себя сидящим в трубе? Где лучше всего будет детям? Ведь они тоже летают в самолетах. Какой уловкой напомнить о тишине людям, находящимся рядом с ревущей турбиной?.. И странно, задачи эти в чем-то переплетались с работой над скульптурой из сосны, в чем-то почти неосязаемом. Быть может, сходство скрывалось в поиске гармонии, в удлинённости форм, которую надо понять и заставить послужить красоте? Не сказать, не выразить, но два этих дела, совершаясь вместе, сплетались и помогали друг другу.

Да и никогда его домашние занятия и архитектура не разъединялись, а были равно ему нужны. Кто-то из новых знакомых произнес шутовское словечко «хобби». Ему сделалось неловко, он попросил не говорить этого слова, оно связывалось с бессмыслицей собирания пробок от пивных бутылок и прочей подобной белибердой.

Признанный архитектор, он не получил признания как ювелир или скульптор, но не потому, что был недостоин признания. В своей кабине-шкафу он трудился для отдохновения, для себя и никому, кроме друзей, ничего не показывал, и на выставках не выставлялся, и не хотел выставляться. И шедевры его, подлинные шедевры, так и существуют в неизвестности, хотя достойны музейной витрины и не имеют цены.

Широта и беспечность таланта... Произведения его были радостью, восторгом, избытком сил, неустанной потребностью самовыражения. У одних удивление перед красотой мира

выплескивается в словесных «ахах» и «охах», у него — иначе, по-другому.

...А «Вскинувшая руки» жила и с годами, как все живое, менялась, и это тоже захватывало. Законченная, она отдалялась, смешавшись с остальными работами, и глаз не останавливался на ней. Но как-то через несколько лет мастер повнимательней присмотрелся и заметил, что она другая. Фигурка словно бы покрылась загаром, потемнела, стала цветом ближе к обожженной глине. Раньше была слоновая кость и янтарь, а вот стала медного оттенка. Белизна совсем, напрочь исчезла. Это смола потихоньку пропитывала слои, проникала из колец в белую мякоть и окрашивала ее, превращая в янтарный слиток.

И чем глубже погружалась фигурка в годы, тем сочнее становился цвет янтаря, цвет загара и меди. И чудо это было известно одному мастеру, помнившему сосновый обрезок, много лет назад неуверенно тронутый стамеской...

Дерево, как вино, с годами обретает благородство, изысканность, сглаживаются резкости, выравнивается тон, приходит цельность и законченность. И все это совершается уже помимо мастера, самой жизнью дерева, ставшего скульптурой.

Потом, вскоре после сосны, появился можжевельник. Случайно попался летом у Оки можжевельовый куст на опушке, и в нем — сохлый ствол с облезлыми ветками, оползшей корой. Внутри ствола оказались два слоя: сердцевинный — серозеленоватый с легчайшей коричневатостью и внешний, как старый ватман, с желтинкой, но по сравнению с внутренним, выглядевший вовсе белым.

Опушка эта, луговина, полоса вечерней реки, безмолвие лесное... Увиделось в куске что-то дремучее, некий облик — леший ли, схимник... И тут же осенило: лик будет темным, сделать его из внутреннего слоя, а белая древесина — борода.

Внутри, к глубинному слою, прорезал овальное окошечко, и дерево сразу пробудилось: обнаружились белые волосы «под кружок», усы и едва угаданные темные губы; из зеленовато-серой сердцевины проглянул широкий нос, глубокие глаза; седые брови остались от белого слоя. Неровный, разделенный двумя продольными наплывами ствол превратился в длинную развоенную-бороду, и в бороде, внизу, обломанный сучок оборотился пальцами босой ступни, проглянувшими сквозь дремучую волосню. А наверху вылезла узловатая рука — темная кисть, охватившая белоснежные волокна бороды.

И вот уж законченный старичок Можжевель уплывает в глубь времени, в годы, и с ним повторяется то же, что и со «Вскинувшей руки»: лет через пять борода, волосы и брови потеряли свою изначальную белизну, появился зеленоватый, бледно-желтый оттенок, затем легкая коричневатость залила всю древесину. Изнутри, из сердцевины, по невидимым сосудикам и трещинкам проникла смола. У нее был неиссякаемый тонкий и стойкий аромат, не уступавший сандалу. Лет через десять борода по цвету почти сравнялась с темнотой лица.

Это все природные краски, бродившие в древесине, исподволь приносившие изменение цвета. Наблюдения за ними незаметно, тихонько подталкивали к желанию самому предложить дереву новый цвет. Сначала смутно шевельнулась такая мысль, и он не принял ее, а она неожиданно окрепла и захватила.

Тут соединилось далекое, почти несоединимое: увидел танцоров из Африки... А дерево... Что же дерево?.. Загорелось сохранить движение — причудливое, странное, удивившее. Танец змеи. Негритянка в ритуальных украшениях из слоновой кости, контраст браслетов и ожерелья с темной лоснящейся кожей, каскад экзотических поз, вырывающихся за барьер привычного...

Не было темного дерева, и тогда, взяв ольху, решил тонировать ее сам. С этого и началось. Провозился год или

больше. Когда фигурка вылупилась из куска и, отшлифованная, засверкала белизной,— стал подбирать морилку. И все побаивался — не испортить бы: не знал, каким станет дерево после тонирования, примет ли цвет, согласится ли...

Выбрав глубоко-шоколадный, густой тон, окунул несколько кусочков ольхи, чтоб посмотреть, как ляжет краска. Получилось... Но то просто куски, а фигурку трогать все равно боязно...

И вопреки опасениям начал готовить негритянку к изменению цвета. Не скорая эта история. Взял мягкую кисточку, смочил теплой водой и легонько омыл всю фигурку с головы до пят. И тотчас шлифовки как не бывало: дерево вспучилось — вылезли концы мелких волокон, замятых внутрь наждаком, когда отглаживал посуху. Сейчас они распрямились и выступили, фигурка сделалась шероховатой. Дождался, пока высохнет, и еще раз отшлифовал. И снова оросил водой, и после сушки в третий раз прошелся тончайшим наждаком.

Теперь влага ей не страшна, так и останется гладкой. А если б без этой подготовки покрыл морилкой, разведенной в воде,— загубил бы, не приняла б она потом никакой обработки, так и осталась бы в заусенцах.

Готовился, страховался, примеривался, а тонировать все равно было страшновато...

Начал с головы. Краска яростно всасывалась в дерево. Вел кисть, и рука дрожала. Выйдет ли?

Поглядел на свет. Морилка легла неровно... Чужая душа... Не послушался, теперь сетовать не на кого. Кое-как закончил. С трудом заставил себя посмотреть. Краска расплылась пятнами, потеками... какая-то базарная кукла, бездарная поделка...

Выключил свет, закрыл шкаф, лег спать, и во сне сто раз повторилось это дурацкое крашение: изящная статуэтка превращалась в пегое чудовище...

Утром с неохотой все ж открыл шкаф — посмотреть при дневном свете. Боялся взглянуть, брал, закрыв глаза. А обернулось удачно — высохшая морилка покрыла дерево

ровным матовым налетом, пятна и потеки исчезли, все стало однотонным, темно-шоколадным, таким, как хотел. И здесь только понял причину пятен: сырая морилка на поперечных срезах выглядела темней, чем на продольных волокнах, а когда высохла — выровнялась.

Это теперь понятно, а ночь-то была кошмарной, даже дыхание стеснило. Нельзя так переживать неудачи.

И память выхватила из прошлого панораму реки, поставленный за ночь понтонный мост, и обломки его, летящие в небо, и вой немецких штурмовиков... Тогда тоже сердце схватывало. Но причины-то, причины... Переправа в наступлении и эта деревяшечка...

Может, старость... Может, и так... На стенке в шкафу брезентовый фронтальной ремень с трофейной немецкой фляжкой. Напоминание, оставленное на виду, — для себя, чтоб сравнивать нынешнее с прошедшим, соизмерять житейские коловращения... Вспомнилось, каким был в ту пору... Но все же не старость это. Нет. Просто все близко от сердца...

В первый же свободный вечер вынул кисть со щетиной, обрезанной почти под корень, — чтоб жестче, плотней; нетерпеливо провел по самым большим поверхностям скульптуры — по груди, спине... И не мог усидеть — выскочил из шкафа, поставил негрятанку на стол под лампу, закружил около, рассматривая с разных сторон. Чудо, как заиграло дерево! Рисунок ольхи, составленный капиллярами, впитал больше краски и проявился более глубоким цветом, разбежался слаженным узором, подчеркивая движение. Негрятанка обрела плотность и плоть, засветилась теплыми бликами.

Потом ей на шею, на запястья, на щиколотки легли белоснежные украшения из слоновой кости и завершили сказочную гармонию.

Так начали открываться тайны тонирования, тонкие и прихотливые соотношения морилок и дерева, гладких поверхностей и воды, бесчисленные причуды разных пород. И

чем глубже он погружался в эту неизведанность, тем ненасытней становился.

Запало вдруг сделать нечто окрашенное и залитое лаком. Угадывалась тут возможность каких-то новых граней, глубинного проникновения... Все смутно еще вырисовывалось... Он не смог бы сказать, чего ждет и чего хочет и почему именно лак. Увиделось — и все, и теперь надо сделать.

Среди накопившихся уже деревянных заготовок неизвестно чем понравился еловый обрубок с двумя сучками, заплывшими смолой. Был он плотным, тяжелым и каким-то очень цельным, аппетитным. Случается, что кусок уже содержит в себе пропорции и смотрится как самостоятельное существо, просится наружу, хочет сбросить лишнее и стать чем-то еще неизвестным, то складным, единым... Нужно только отгадать, что же в нем прячется...

Повертел так и сяк, поставил на торец, положил боком, покатил по столу. Обрубок перевернулся, закачался... Кто ж это?.. Кто?.. Пожалуй, бегемот... Сучки выпуклые глаза на голове, слитой с неуклюжим, тяжелым туловом. Да, в обрубке прятался бегемот. Все понятно теперь.

Сходил в зоопарк, полистал толстенный том зоологии, хоть и не собирался копировать бегемота. Но чтоб получилось обобщенно, надо было знать, от чего оттолкнуться.

Вырезалось этакое нарочито неуклюжее, увалистое чудовище. Именно этого и хотел — чтоб крупные, простые объемы...

Тонировал коричнево-красной морилкой... И на тебе — сразу же неожиданность. Смолистые годичные кольца краску не приняли — остались желтыми, ярко засветились на темном фоне, причудливо закруглились на боках, на морде, вокруг глаз, придав бегемоту сказочный декоративный вид. Мастер даже не предполагал, что столь удивительное преобразование произойдет в миг после прикосновения морилки к дереву.

Когда влага высохла, он окунул в прозрачный лак мягкую кисть и повел по округлым бокам, по голове. Бегемот, казалось, заворочался, заблестел мокрой кожей. Через сутки лак просох, и обнаружились матовые пятна там, где древесина слишком жадно его впитала. Покрыл еще раз. По прошествии дня — еще. Потом с каждым новым слоем лак начал образовывать нечто вроде стеклянной оболочки, плотно охватившей причудливого зверя.

И тогда увиделось, что древесина под этим стеклом заиграла муаровым сплетением мельчайших жилок, сосудов, волоконца. Тут был целый фейерверк оттенков, переходов, переливов. Поворачивая зверя под разными углами к свету, можно открывать бесконечно много каких-то глубинных, внутренних свечений, почти неуловимых и волшебных.

Никто не хотел верить, что это всего-навсего еловое колено. Подозревали всякие неведомые деревья. Но это была елка, самая заваливающая, обыкновенная, лишь случайно попавшая не в печь, а на полку домашнего музея. И оказалось, именно елка лучше других принимала морилку и лак, одаривая нескончаемой глубиной, разнообразием игры внутреннего рисунка, усиленного краской. Нетонированная, она выглядела неинтересной простушкой, а в цветном одеянии — королевой.

Одно удивление — после того, как выучил наизусть каждый изгиб, всякий выгиб волокон и слоев, — открывать под лаком неожиданные эффекты. Просыпалось странное чувство, будто заглядываешь в неведомый мир, живущий по своим законам. При малейшем повороте света глаз погружался в глубину куска, словно в маленькую вселенную. Это была красота, открывавшаяся уже помимо замысла и сверх всяких ожиданий, подарок, преподнесенный природой за терпение и преданность.

И вновь меркла форма, бегемот отдалялся на второй план перед богатством дерева, перед роскошью, россыпью его оттенков и неожиданностей.

Так появилось целое семейство зверей из лаковой, мореной красным, коричневым, ореховым ели.

Он долго выпытывал у нее сокровенности, но остановиться на этом чуде не мог. Теперь дерево как бы само плыло в руки, раскрываясь в разных породах, играя и радуя глаз.

Ему захотелось сделать утварь для дома и для друзей — чтоб дарить. Он придумал вырезать несколько солонок.

В ящике сохли разные деревья, — разворошил куски, присматривался, какой лучше подойдет, и выбрал вишню, которую никогда еще не пробовал. Это был обрезок довольно толстого ствола, срубленного при расчистке сада. Дома вишня совсем досохла (под открытым небом сохлое дерево все равно пропитано влагой из-за дождей и от земли; только пролежав год-два в помещении, обретает оно свойство не трескаться после обработки)...

На грубом спиле — веер пестрых слоев: темно-коричневые, твердые, как кость, совсем рыхлые, желтоватые, тронутые гниlostным грибокoм, узкие, неровной окраски, с красноватым и лиловым отливом. Они чередовались контрастно и даже сквозь туман грубого спила обещали много неожиданностей. Эта разномастность и наводила на мысль, что вишня хороша для утвари, не для скульптуры.

Отрезал часть ствола, рассеченную глубокими трещинами, почти расколовшими ее вдоль волокон, — она тотчас развалилась на две неровные половины, обнаружив веселую игру внутренних слоев. Даже гниловатый пласт, который на спиле пугал ватной рыхлостью, в нетронутом дереве оказался довольно плотным и обещал принять обработку.

Над формой не стал мудрить. Кусок сам просился стать таким ковчезцем, продолговатой чашкой с поднятыми узкими торцами...

Стамеска довольно быстро обкусала все лишнее, и ковчезец заиграл несимметричными разноцветными слоями, которые вступали в спор с его простой и ясной формой. В этом была своя прелесть, своя жизнь.

Вылутил дерево изнутри — там пласты изогнулись, разлетелись петушиным хвостом, сломались резкими углами; теперь, когда открылось доньшко, слои неожиданным вымахом перебрасывались с внешней поверхности на внутреннюю. Шлифовка, сгладив форму, усилила эту игру, обнаружила еще более резкие контрасты, ранее скрытые небрежностью обработки.

Рассматривая дерево, он предвкушал, как лак откроет еще что-то новое и неожиданное, и не терпелось узнать что же... Это главный и сокровенный интерес, который всегда теперь одолевал в конце работы. Но лак был нужен еще и просто для того, чтоб солонка стала солонкой: не захватывалась руками, не туснела от соли, позволяла себя мыть, не теряя красоты.

И ожидания оказались не зряшными: прозрачный лак обнаружил в вишне глубины, которых не могла раскрыть полировка. На торцах в годичных кольцах просветились мельчайшие стрелочки, разбегавшиеся по радиусу, они отбрасывали золотистые лучики и создавали впечатление ребристости, тончайших граней, недоступных даже изощренности ювелирного мастерства. Внутри плотных коричневых слоев появились линии разных оттенков — от розового до красного и черного. Белые рыхлые пласты наполнились янтарными зернами и прозрачным рисунком желтоватых, палевых, сероватых тонов.

С каждым новым прикосновением лака солонка сверкала все искристей, веселей; все уютней и мягче становилась ее форма, все напористей и резче борение вишневых жил и волокон, словно вырывавшихся наружу, не желавших подчиниться спокойному облику, их заключающему. Вишневая древесина под лаком лучилась, как драгоценность.

Тогда же один знакомый привез из тропической Африки брусок красного дерева. Мастер сделал из него плоску, и получилась она скучной, стандартной, «покупной» какой-то. Редкостное густо-медное, блестящее дерево, и форма интересная нашлась, а штучка неудачная. И никак не возьмешь

в толк, почему ж не удалось?.. Потом понял: рисунок слишком однообразен, ровен, слои чередуются с удручающей последовательностью, они одинаковы по толщине и окраске. Каждый слой сам по себе интересен, но соседний повторяет его и следующий тоже, и так весь кусок, словно фанера. Глаз устаёт без неожиданностей, без всплесков, без веселья нелогичности. Дерево равнодушно принимало любую форму, со всем соглашаясь, не сопротивляясь, не вступая в спор, и безликий характер его загубил замысел.

Вишня перед ним была бунтаркой, не желающей подчиняться, разрывавшей любую одежду, была ураганом, ломавшим любой заслон...

Мир дерева не имел границ и конца, путешествие по нему заняло половину жизни.

С годами копились куски, пласты, обрезки, спилы, наплывы, наросты, поленья, доски, чурбаки... Они были хороши уже сами по себе, без всякой обработки. Мастер сделал для них специальные полки, и они украсили стены. Большие куски стояли прямо на полу, рядом с мебелью, и своим первобытным видом придавали квартире особый дух и настроение. И с каждым связывалась своя история, воспоминание о людях, их подаривших, о местах, из которых сам их привез...

Амурский бархат с корой, напоминающей серый каракуль, так он тепел и мягок — берег Уссури, тайга, заимка, заваленная снегом; угольно-черный кусок мореного дуба — обрыв Оки, развороченный половодьем, холодный день, старая лодка; медово-желтый спил кедра и красный торец лиственницы — синий Байкал, песчаный берег, сухие ветки трещат в костре; чугунной тяжести слиток ореха — прозрачный жар горного Крыма, пустынные тропы; шелушащаяся чешуя каменной березы — чудовищные деревья в тайге на Камчатке, завалы мертвых суков у их подножий; нежно-розовые срезы подмосковной сливы и груши; причудливые капы — березовые

наплывы с муаровой игрой древесины; белоснежные плахи липы; серебряный тополь; звонкий ясень и клен; окоренки можжевельника, обнаруживающие на продольном спиле игру стрекозино крыла; мощные ритмы колец на вековых жерновах дуба; непроницаемая плотность и чернота эбенового дерева; коленчатый мотив бамбука: аромат сандала; живая ячеистая плоть чинара, напоминающая мякоть экзотических плодов; чешуйчатый, костяной крепости самшит; золотистый тутовник; уверенное, плотное однообразие бука...

В богатстве этом — зовущее ожидание, и он знает уже, что не хватит жизни постичь все чудеса, затаившиеся здесь.

Я вижу его с куском дерева в руке, глаза, проникающие внутрь сокрытых слоев, пальцы, оглаживающие спил.

Так хорошо и тревожно быть рядом. Каждая минута — соучастие в зарождении чуда — и влечет, и страшит, и хочется самому стать чудодеем.

Он научил меня понимать мир, спрятанный под корой и листьями, дал мне второе зрение и чутье, наделил руки умением держать инструмент, погружаться в недра, недоступные непосвященному, научил терпению и выдержке, без которых нет ремесла и искусства.

С тех пор я тоже ищу и нахожу иногда удивительное дерево, не тускнеющую радость. Но еще радостней встретить человека, понимающего эту радость, вместе с ним окунуться в живые струи слоев и от него узнать что-то неведомое, тобой не замеченное, ибо, красота бесконечна и не открывается одному...

Потом, через годы, в другой стране, я встречу многих мастеров, и среди них так же очарованного деревом и поразительно похожего на моего учителя, даже внешне — лицом, ростом, складом фигуры, привычками; и он так же войдет в мой мир, и будет жить во мне...

КАМЕНЬ, ДЕРЕВО И ДУША

Здесь были термы, построенные римлянами во времена, отдаленные от нынешних, как сотворение мира (не помню когда, хоть и прочитал на таблице при входе). Сейчас больше волновала иная дата, которая приближалась, — 1300-летие Болгарского государства. Именно за этот срок и совершились на знакомом берегу изменения, приведшие, в конце концов, к сегодняшнему жаркому дню в городе Варне.

Бессмыслица и неразбериха внешнего вида развалин сменяется, едва переступишь порог заповедника, четко расчерченным контуром, возвращенным нашему времени археологами.

Длинейшие подземные коридоры, сводчатые, низкие, темные, — по ним когда-то клубился пар, согревая мраморные полы, там, над головой. Теперь здесь прохладно и можно отдохнуть от жары.

Наверху расчищено то, что было когда-то залами терм. Над ними — неподвижное солнце. Наверное, такого сухого зноя, как сегодня, римлянам не приносил никакой пар...

На самом солнцепеке рассматриваю уголок, неприкосновенно сохранившийся с первозданных времен. Гуда не поставить даже ступню, но в нем есть остатки двух беломраморных стен и такого же пола — три обломка, еще связанные вместе, вопреки векам.

Мысленно продолжаю их плоскости, оглядываюсь и вижу мраморный, зал в легком сумраке, в благоуханье неких древних ароматов. Мне не хватает потолка. Мне зачем-то надо знать, какой здесь был потолок... Я иду к портику, соединяющему этот зал со следующим, — там, на земле валяются капители небольших колонн и плоские плиты мрамора, когда-то выстилавшие потолок.

И тут произошла встреча, после которой я понял, что не зря пришел сюда; встреча, оживившая все эти развалины и

обломки, собравшая их воедино и оставившая в памяти навсегда.

Капители были безукоризненны даже сейчас, через тысячелетия. Однако там, где они сочленились когда-то с потолком, на поверхности, незаметной для смотрящего снизу, остались следы обработки, принадлежащие древнему мастеру. Эти-то следы и поражают больше всего. Они настолько живы и ярки, что заставляют верить, будто мастер сейчас только, за минуту до твоего прихода, оставил их...

Мрамор там порист и порван неровными бороздками, прочеркнутыми стальным долотом, которым с первого раза грубо обтесывают камень. Они четко и свежо пересекают поверхность, и за ними — это почти невероятно — видно движение руки, державшей инструмент, и другой руки, размеренно бившей по долоту молотком. Руки жили во времена Древнего Рима, две тысячи лет назад, и голос молотка умер две тысячи лет назад. Но сейчас, приглядываясь к бороздкам, я начинаю явственно слышать звуки, я вижу, куда приходились удары, где мраморщик отрывал долото от камня, где снова приставлял и бил... Я вижу, как был заточен инструмент — фаска выщербилась немного с краю и в середине.

Древний мастер не придавал особого значения этой части обработки — черновая, невидная — и так сойдет... Он не был педантом, аккуратистом, который следит за каждой мелочью, он не удосужился поправить резец, и в этом видна черта характера. Живая черта, мелькнувшая через тысячелетия!

К левому краю плоской верхушки капители бороздки слегка виляют, они не так ровны, как в начале, они короче и суетливей, чем справа. Мастер утомился, удар сделался слабей, и рука вяло направляла долото. Вероятно, была такая же, как сегодня, жара, он устал, но хотел обязательно закончить работу. Может быть, выщербинки на долоте объясняются и так? Долото следовало заточить — на это уйдет время, — а работу нужно сдать в срок, по уговору... И он торопился — рубил капитель зазубренным инструментом, с натугой ударяя

тяжелым молотком. Пот капал со лба на мрамор, хотелось есть, думалось о кислом вине, налитом в баклажку из долбленной тыквы. И рука уже плохо слушалась — бороздки свивались, загибались вкривь и вкось. Но их контур никого не интересовал — нужна плоская поверхность, которая будет сотни лет держать брус, перекрывающий портик.

И мраморщик закончил свою работу в срок два тысячелетия назад, таких же отдаленных от нас, как сотворение мира, Ноев ковчег, Колизей и прочее...

При выходе из развалин первый, кого я увидел, был мраморщик! Он стоял совсем рядом, в его руках позванивал молоток, обитый, старый, с блестящим торцом и ручкой, отполированной ладонями. Мастер обрабатывал плиту мрамора — из-под долота струились бороздки, которые я только что видел на римской капители...

Мастеру было лет сорок. Он по пояс обнажен, и загорелый торс его, где прочеркнут каждый мускул, мог бы служить моделью для античного скульптора. Мраморная пыль припудрила руки и грудь, на которой пот промыл черные дорожки.

Солнечная духота, плотное стеклянное марево, залившее площадку, где работал мастер, на миг превратили происходящее в мираж. Это он, тот самый, кто делал капители в римских термах... И нисколько не удивило бы, появись из-за каменных глыб архитектор в тунике и сандалиях.

Мастер оторвался от работы. На лбу тоже белая пыль, размытая ручейками пота. Крутые, черные с сединой волосы, глубокие глаза, худошавое, красивое и верно вырезанное лицо.

Он готовит камень к пьедесталу нового памятника для города. Что? Обрабатывает, как в Древнем Риме? Удивленно проводит ладонью по лбу. Ах, рядом, в термах капители и карнизы... Вот в чем дело! Мастер улыбается. Да, конечно, камень есть камень и сейчас, как тогда. Чем же его рубить как не долотом и молотком? Только сталь и руки могут сделать из камня красоту. Так было всегда и всегда будет. Его отец тоже

работал камень. И дед тоже. И прадед. Он не помнит, кто бы в их роду не занимался камнем. Он не знает точно, однако возможно, что его предки обтесывали и ту капитель, что в термах... Впрочем, простите, другари, дело срочное, нужно закончить этот блок до обеда. И он склоняется над камнем, и в солнечном зное опять повисает резкий звон стали.

И еще одна встреча с мастерами камня, еще миг проникновенья в сокровенность спрятанного толщей времен...

2

С высоты крепость Велико Тырново Охватывается одним взглядом. Как вечерняя драгоценность светится она в последних лучах. Белокаменная стена и башни врезаны в темную зелень холма, их четкий рисунок противостоит окружающим горам — пологим, спокойным, сочным и мягким. Он переключается только с вершинами гор, где выпирают каменные кручи, полосой протянувшиеся вдоль хребта и похожие на стену, которую строила сама вечность. И только люди сумели создать нечто подобное — это стена крепости Царевец — сердца Третьего Болгарского царства.

Даже издали заметно, что стена и башни совсем новые, недавно возведенные. Они сияют в закатных лучах среди провальной темноты долины, уже залитой ночной тенью. Золото переходит в медь, и медь тускнеет, покрывается окалиной и чернью.

При луне древний Царевец становится серебряным, от него исходит низкий, неслышный и неутихающий гул, как от колокола, потревоженного лунным светом. Земля растворяется во мраке, небо и горы стираются темнотой, в черной пустоте стены и башни — как светлый край того колокола, невидимо возносящегося в ночное небо.

Утром же повторился (или продолжился) мираж, мелькнувший в Варне.

При входе в Царевец — груды камня, песок, щебень. Стена здесь только начинает расти над древним фундаментом. Так было и в давности, когда первые камни ложились по краю холма.

Старый каменщик в широкой соломенной шляпе, синих выгоревших штанах и цырвулях — обуви, сделанной из одного куска кожи, — берет нестерпимо-белый блок известняка, и пальцы его кажутся вовсе черными. Он медленно осматривает камень, неторопливо примеряет к ряду других, уже уложенных в стену, по-стариковски трудно наклоняется, проверяя зазор, подтесывает и только потом кладет раствор, и камень сливается со стеной.

Поскрипывает телега — молодой парень привез песок; слышится топор и пила плотников, ставящих опалубку возле башни, постукивают где-то молотки других каменщиков — звуки эти медленно и привольно плывут над глубокой долиной.

Те же движения рук, тот же камень, те же звуки, что были там, в столетиях... Велико Тырново неторопливым радением своих вечных мастеров прорастает из прошлого в сегодняшний день.

Пусть строятся многоэтажные башни модных курортов и городов, гудят мощные краны, применяются бетонные стандарты и стандартные расчеты — до них далеко, до них столетия. Здесь каждый камень проходит через неторопливые умные руки, на каждом следы пальцев и невидные, но явные следы глаз, следы меткого и точного прищуря, по которому выравнивается камень, прирастающий и врастающий в тело стены, как живая клеточка. Стена видится именно живым существом, держащим в объятиях древний холм. Она обтекает и обвивает неровности почвы, сжимается на возвышенностях, прорастает вглубь у обрывов и скал, она нигде не повторяет ни одного из своих сочленений — всюду она другая. Это оттого, что в ней живет каждый камень, ибо всякий камень создан руками и всегда чем-то отличен от соседних камней, тоже оглаженных, ухоженных руками мастеров. Это живая сила и

душа каменщиков перешли в стену, в ее рисунок, струящийся через столетия и возрожденный сегодня тем же трудом, руками и инструментом, что были в веках.

Приобщение к давности через древнее мастерство, живущее ныне, когда своими глазами видишь, как строится легенда, когда говоришь с людьми, умудренными ремеслом, пережившим века, это приобщение к истории трепетно и удивительно. Перед тобой — живой творец чуда, ставшего памятником целого народа. Его руки, его движенья и взгляд пришли оттуда, издалека. И это единственная оставшаяся нам возможность встретиться с живым обладателем давнего мастерства.

Перемерли цари, погибли герои-воины. Теперь если и нарядят артиста, и снимут его на фоне подлинных стен — видишь и знаешь — лицедей. И чем пышней постановка, тем меньше веры. Не сыщешь сейчас ни купца тех времен, ни лекаря, ни горожанина или селянина — никого не осталось.

А мастер с камнем и молотком в руках, восстанавливающий крепость «как была», — вот он, рядом с тобой, он тут, он нужен сейчас. Ни царь, ни древний воин, ни горожанин не нужны, а каменщик с древним ремеслом, рукомеслом и инструментом — нужен и живет и здравствует.

И другая уже стена перед глазами, стена из дикого камня, за которой по болгарскому обычаю — дом и сад. Стена как стена. В стене — железные ворота. Мой друг Христо показывает их как первую достопримечательность — мастер их сделал сам... Никаких украшений — две створки, покрашенные суриком. Но есть в них что-то отличное от всех других ворот, какие приходилось видеть. Сразу трудно определить что, но уже начинаешь понимать — это характер мастера, след его рук и глаз, его мысли, его пристрастия.

Пластины железа с необычайной тщательностью сварены, и швы зачищены так, что кажется, будто вся плоскость цельная, вырезанная из одного листа. Калитка в правой створке почти неразличима. Я заметил ее, лишь, когда она открылась — столь старательно подогнаны ее края к полотну ворот; с подобной точностью делают дверцы сейфов.

И подумалось, что мастер очень любит свое дело, и мастерство награждает его радостью. Но ворота есть ворота, и если они похожи на дверцу сейфа — не скрывается ли за ними кроме мастерства еще и скупость, подозрительность, недоверие к людям?.. Разве мало мастеров, талант которых отягчен пороком стяжательства и нелюдимости. Однако эта догадка требовала подтверждения, а то, что ворота делал мастер, было несомненно.

Калитка открылась после того, как Христо громко позвал хозяина. Дверца бесшумно распахнулась. За ней стояла очень старая женщина в черном платье и черном платке. По всему видно, ей так много лет, что удивляешься, как может она еще открывать железную калитку и встречать гостей. Она была почти невесома — так высохли от времени ее лицо, руки и все тело, будто под одеждой — пустота. Потом Христо мне шепнул, что это мать мастера и что ей за девяносто, и она ведет хозяйство.

Узнав, что мастер нужен нам не по делу, а просто ради знакомства, она несколько удивилась, попросила подождать в беседке и, словно подхваченная ветром, легко улетела в дом.

Беседка была сделана из железа. Никаких украшений — все просто, прочно, точно, рационально: железные поручни приварены к железным столбикам, обвитым розами; железная скамейка, по кругу огибающая беседку, хорошо отполирована сидевшими тут людьми — видно, гости не переводятся. Круглый стол из железа так массивен, ровен и прочен, будто это плита для телескопа. В середине стола — круглая дыра, через которую пропущен ствол тутового дерева, и ветви

искусно распластаны поверху — густая листва спасает от солнца.

Мне приходилось слышать про болгарских кузнецов, плетущих железные кружева. То, что увидел здесь, было напрочь лишено украшательности и в то же время очень красиво своей трезвой и строгой конструктивностью. Беседка сделала бы честь современному архитектору — железо, розы и густой тутовник, ничего лишнего. Так же, как ворота, — чистая плоскость среди неровностей дикого камня ограды.

Мы сели на скамью, и тотчас на железный стол, как бы принесенная ветром, упала скатерть, на скатерти возник графинчик сливовой ракии, две чаши (так болгары называют стаканчики, стопки, рюмки — все, из чего пьют) и коробка конфет.

Мы едва различили промельк сухих оливковых рук и услышали голос:

— Мастер просит извинения, он сейчас выйдет.

И лишь после увидели мать — так она быстра и легка. Мы не успели отвести глаз, как чаши уже наполнились, и к аромату роз примешался кислватый крепкий запах сливовицы.

Мать стояла у входа, руки скрещены на груди, она смотрела на нас, и от этого накрытый стол остался чудом — она не прикасалась к нему: скатерть-самобранка.

— Я никогда не видела твоего друга. Из какого он села? — спросила мать у Христо, глядя на меня чистыми и зоркими глазами.

— Он из Москвы.

— О-о-о, так далеко... — глаза ее молодо раскрылись, и мне подумалось, какой ослепительной красавицей была она когда-то.

И она тотчас исчезла.

Мастер был невысок, жилист, словно прокален в горне. Четкое суховатое лицо с маленьким, скошенным к шее подбородком, в профиль — один нос, как у птицы; тонкие губы, круглые очки в жестяной оправе; точные нужные движения.

Сквозила в нем некоторая отрешенность, самоуглубленность, выдающая постоянную работу мысли. Видно, что он все время обдумывает нечто свое внутри себя. Наверное, для него разделены миры внешний и внутренний — он живет внутри, поэтому во вне выглядит чем-то отрешенным и даже холодноватым. И все-таки лицо его привлекает и притягивает внимание.

Только после переводить взгляд от лица и видишь, что мастер — довольно щуплый, тщедушный человек. Рубашка обвисла на узких плечах, сутуловатая спина, впалая грудь, небольшие, хоть и крепкие кисти.

Вспомнились ворота, весившие не меньше тонны, пальцы невольно ощупали железную плиту столешницы, у которой мы стояли...

После первых неловких общих слов я не утерпел и спросил, кто же помогает ему в работе с железом.

Он удивленно посмотрел на меня, вопрос был для него странен. Как это — кто помогает? По-моему, он даже несколько обиделся такому вопросу. Никто ему не помогает — все делает сам. И ворота? И ворота. И этот стол? И стол. Но это ж тонны металла!

Тонны? Ах, тонны! Мастер засмеялся. Он как бы вырвался из своей замкнутости, весь вышел наружу, весело, хорошо, от души засмеялся и даже вытер пальцем глаза под очками. Он ничего не стал объяснять. Он повел нас к высокому сараю, что виднелся за виноградником у стены-изгороди. Сарай походил на каменный куб с точно подогнанной железной, конечно, дверью. Сам по себе он был красив простотой и изяществом пропорций. Слово «сарай» никак не шло к этому строению, но в хозяйстве так уж надо называть — сарай так сарай.

Мастер нажал кнопку, и железная дверь отползла в сторону; одновременно внутри включилась сильная лампа. Там стояла лесопильная машина, и лежало несколько бревен в обхват толщиной.

Мастер попросил меня поднять бревно. И не дотрагиваясь, я знал, что не подниму, но все ж подошел, взялся за торец — бревно даже не сдвинулось.

Без тени улыбки, снова погруженный в какие-то свои размышления, мастер вытянул из угла сверху железные захваты, подцепил бревно, нажал кнопку, и бревно поднялось к железной тележке. Он выправил его одной рукой и опустил на тележку.

Заревел мотор, взвыла ленточная пила, бревно медленно поползло под ее вихрящееся полотно. Работала она сама, автоматически. Мы вышли из сарая.

— Все это простой расчет,— сказал мастер суховато.— Для меня тяжести нет.

Так я оказался в неловком положении человека, не знающего про блоки, рычаги, моторы и т. п. Мне, однако, не этого стало стыдно, а того, что не мог предположить у деревенского мастера такого размаха и знаний.

Но я тут же задал вопрос невпопад:

— А эта лесопильная машина... Вы ее тоже сами?.. Мастер весело посмотрел на меня, но не улыбнулся.

— Я все здесь сделал сам.

Он сказал это таким тоном, каким отвечал бы на нелепый вопрос — его ли рубашка на нем или его ли руки у него...

Когда мотор в сарае смолк, мы вошли. Рядом со станком лежала доска. Мастер ловко перегнал бревно назад, под пилу, и опять ее включил. Движения его быстры, заученны, и сквозила в них некоторая, пожалуй, скука, они как бы надоели ему своими повторами — так делают нужное, но неинтересное. Запустив бревно пилиться, он вышел из сарая, вздохнул и сказал, что давно придумал, как заставить машину самую перегонять бревно до тех пор, пока оно не развалится па последние доски; придумал, а руки не доходят закончить. Но дело это решенное — самопилку он достроит, и думать о ней перестанет.

И только сейчас я начал понимать, почему не унимается какая-то неловкость перед этим человеком, неловкость, вызванная и моими не очень тактичными вопросами к нему, и некоторым недоверием к тому, что видят глаза и что, несомненно. Просто произошло несовпадение того образа, который я ожидал увидеть, и этого, настоящего. Когда мне обещали деревенского мастера, я представил себе кузнеца, жестянщика, который чинит земледельческий инвентарь, паяет, лудит — в общем, делает, пусть хорошо и даже блестяще, обычную работу деревенского умельца. Здесь же был подлинно удивительный мастер. И надо было привыкнуть, войти в его мир, посмотреть на него иными глазами, и пока это не сделано, неловкость перед ним останется.

Болгары называют его «майстор» — на немецкий лад. Когда я спросил потом у Христо, как имя мастера, тот смешался и не мог сразу вспомнить, и сказал:

— Его здесь всегда зовут просто «майстор»... Зайдешь в деревню: «Где живет майстор?» Тебе всякий покажет.

Сейчас я уже хорошо понимал — передо мной человек настолько талантливый и самобытный, что к нему не совсем применимы обычные слова вроде «умелец», «золотые руки» или еще в этом роде, слова, относимые к какому-либо узкому ремеслу.

Хотя, конечно, в лесопилении есть, вероятно, подобные станки, и железные ворота — не великое диво, и беседку можно построить вроде этой. Диво в том, что все это он придумал сам, сделал, собрал, сладил, запустил — сам. У него не было ни готовых чертежей, ни описаний, ни расчетов, ни помощников — все в голове, все руками, все сам и все с любовью. Поэтому такого, как у него, станка, конечно же, нет нигде и быть не может, ибо этот станок, в сущности, — произведение искусства, воплощенная фантазия. Действительно, почему чашка, сделанная и расписанная хорошим гончаром, — искусство, а мощную, ладную машину, так же придуманную и сделанную одним человеком, нельзя отнести к искусствам? Ведь главное в

овладение материалом, в воплощение мысли, в преобразование косных кусков железа. Тогда это подумалось, и стало вызревать отношение к мастеру как к человеку фантазии, заставляющей оживать металл, вдыхающей в него движение, придающей ему строгую и точную форму.

Мастер посмотрел на часы и повел нас в мастерскую — показать что-то новое, не совсем понятно что, но, видно, его очень занимающее и дорогое.

Пока переходили двор, он неожиданно и вроде не к делу рассказал, что местные крестьяне добавляют в корм домашней птицы измельченное сено, рубленое топором или сечкой, и что труд этот утомительный и долгий, ибо кур, гусей и индеек держат помногу...

Мастерская занимает длинную комнату в нижнем этаже дома (болгарские сельские дома всегда двухэтажные).

Переступив порог, мастер словно бы забыл про нас, будто остался один. Мы стояли у двери, а он привычным, быстрым броском оказался у верстака, и руки его пробежали по инструментам, разложенным на полочках, сами непроизвольно что-то отбирая для работы. Он готов был начать какое-то дело — радостное возбуждение просвечивало его насквозь — в пальцах блеснули детали, он уже рассматривал ее, отставив руку, потянулся к тискам... Но тут вспомнил про нас и с видимым сожалением отложил инструменты.

11

Все ж он не сразу показал нам что обещал, а прежде провел по мастерской, с любовной радостью и какой-то по-детски наивной торжественностью предлагал токарный и сверлильный станки, баллоны газосварки, целую коллекцию электродрелей, приспособление для окраски изделий нитроземалью... Все аккуратно расставлено по местам, вычищено, смазано, готово к делу, все было как бы частями его собственного тела, его мысли — так слаженно и едино выглядело, так нужно было все вместе, не расчлняясь, не разрываясь на отдельные. И

недавняя отрешенность растворилась в радостном озаренье, осветившем его. Наверное, это потому, что там, за стенами мастерской, жили законченные им, готовые вещи — тут же царили и парили замыслы, поблескивали инструменты для их воплощения. Входя сюда, мастер погружался в лучшее и привычное свое состояние — в творчество, здесь дух его вырывался наружу и обретал плоть, превращаясь в новые приспособления и штуки, изменяя металл по своему образу и подобию... А там, вовне, вдали от мастерской, ему приходилось замыкаться, чтоб сосредоточиться, мысленно переноситься сюда, к заготовкам и инструментам.

И только после он снял с одной из полок изящно сделанную машинку, сверкавшую морозным рисунком синеватой эмали. Ничего от кустарной поделки, от домашнего изделия. Если б сказали, что машинка выпущена первоклассным заводом, — не возникло б ни малейшего сомненья.

Мастер привернул ее к лавке, принес клок сена, скрутил в толстый жгут и вставил в горловину. Несколько поворотов ручки — жгут пополз в железную утробу, и на лавке — мельчайшая сечка вроде крупы. Мастер чуть снисходительно улыбается, словно показал занятный, но, в общем-то, пустяковый фокус. Он говорит, что придумать машинку ничего не стоило — удивительно лишь, почему эта идея ему раньше не пришла — ведь он с детства видел, как тяжело рубить сено топором... Сейчас заказы на машинку идут отовсюду, знают ее «до самого Дуная».

Потом мы вышли на солнце, и мастер тотчас поспешил к воротам: что-то там мелькнуло сверху — то ли рука, то ли шапка. Бесшумно распахнулась калитка, в нее не без труда протиснулся грузный крестьянин в выгоревшей куртке, синих штанах и пыльных цырвулях.

— Здравствуй, душко! — сказал крестьянин. — Привез вот мешок зерна — смолоть бы...

— Неси к мельнице, — ответил мастер и пошел опять к сараю. Там, кроме лесопилки, оказалась еще маленькая

комнатка, почти полностью занятая машиной, такой компактной и цельной, что захотелось сравнить ее с хорошей скульптурой.

Мастер открыл дверь на улицу, где крестьянин уже стоял со своим мешком, и сказал сыпать зерно в глубокий лоток, прилаженный к машине. Поднатужившись, крестьянин перевалил мешок и наполнил лоток до краев.

— Тебе какую надо муку?

— Помельче, душко, помельче,— попросил крестьянин и неловко потер большой палец об указательный, как бы пробуя уже тонкость помола.

Мастер открыл стеной шкафчик и достал решетку массивного металла, блестящую, как зеркало. Тем не менее, он обер ее о рубаху, посмотрел на свет, убеждаясь в безукоризненности полировки, и только после вставил в машину. Затем, не торопясь, шагнул к беломраморному щиту, включил рубильник.

Мы вздрогнули от неожиданно мощного звука. Высоко и тонко что-то завывало под кожухом — там билась почти осязаемая живая сила, кричавшая по-человечьи. Зерно споро потекло в мельницу, будто из прорванного куля. В какие-то мгновенья лоток очистился вовсе, мастер выключил мотор, попросил крестьянина подставить пустой мешок под бункер и нажал рычаг. Мешок тотчас огруз — от него отделилось облачко сытно пахнувшей пылицы.

— Спасибо, душко, спасибо! — повторял крестьянин, взваливая мешок на спину.

Право же, за это время я сумел бы едва намолоть кофе на заварку...

Мастер вынул решетку, сдул с нее пылинки, протер рукавом и поставил в шкафчик. Там у него решетки для восьми разных помолов — от самого простого, грубого, до тончайшего, такого, что сам турецкий султан остался бы доволен. А для турецкого султана, как известно, пекли хлеб из муки двенадцать раз просеянной через мельчайшие сита... Мельницу эту мастер

придумал и построил недавно. Крестьянам приходилось возить зерно в соседний городок, терять иной раз целый день из-за мешка муки, а теперь — все под рукой. Быстро мелет? Для чего ж делать машину, которая медленно работает?

Мастер не знал, есть ли мельницы вроде этой, — все сам придумал из головы — никаких жерновов, никаких вальцов — все очень просто и быстро. Это ж главное — просто, чтоб дольше служила и быстро, чтоб не терять время.

Тут как раз привезли еще бревен, мастер ушел к лесопилке. И я спросил у Христо, почему крестьянин называл мастера «душко». Тот поднял глаза к небу и даже несколько присюсюкнул, произнося «душко», как «дюшко».

— Это значит: очень хороший, душевный человек. Все для тебя сделает и никогда не обидит. Ну, в общем, «душко». Это его второе имя. Одно — майстор, другое — душко. Его все так зовут. Его знают до самого Дуная — он всем помогает и берет самую низкую плату. Он за свою работу ничего не берет. Мешок муки смолоть, бревно распилить стоит столько, сколько сгорело электричества, и все это — гроши. Мастер ничего не наживает — он душко.

Христо принялся рассказывать, как была построена эта лесопилка. Соорудить ее решил инженер колхоза. Он послал майстора за материалами в город. Тот уехал и вернулся через три дня. Тяжело нагруженная машина подъехала к правлению; майстор позвал инженера посмотреть, что привез. Инженер заглянул в кузов и упавшим голосом сказал, что этот ржавый хлам годится лишь на свалку.

И тут произошла сцена, которую в деревне никогда не забудут. Мастер выпрыгнул из кузова, снял шляпу, бросил оземь и сказал: «Еще посмотрим, куда годится это железо!» Он тут же уплатил в контору из своих денег все до стотинки, потраченной на покупку материалов, и отвез железо к себе домой. Что он с ним делал — никто не знал. Постепенно случай этот отдалился и уж стал забываться. Но пришел день, когда мастер пригласил инженера в этот сарай и включил свой

полуавтомат и распилил все, что нужно было колхозу и крестьянам для домашнего хозяйства. Инженер целый день не отходил от машины — даже обедать позабыл. А вечером глубоко извинился перед мастером за свои слова насчет «ржавого хлама» и с тех пор советуется с ним как с равным.

Лесопилка стоит во дворе майстора, но работает она и для колхоза, так что ее можно считать и колхозной, и все же инженера до сих пор гложет совесть за былое недоверие к душко...

В деревне, (да и до самого Дуная) жители искренне и глубоко верят, что для майстора нет невозможного — он может сделать любую нужную машину — стоит ему только загореться, захотеть, стоит сердцем почувствовать, где надо еще облегчить крестьянский труд.

Вот придумал он, как пилить на доски и брусья бревна. А чтоб от доски отрезать кусок, все равно нужна ручная пила. И мастер изобрел еще автомат для точенья и разводки пил — маленькую аккуратную машинку, не больше швейной — она там, в лесопилке, в уголке, ее и не заметишь. Приносишь пилу, он спрашивает, как развести — сильней или поменьше, вставляет ее в станок, и не успеешь выкурить сигарету — станок уже остановился, а пила еще горячая, блестит зубьями, как новая.

Когда в школе стали делать площадку для наблюдения за погодой, понадобился флюгер. Обратились, само собой разумеется, к душко. Тот спросил: «А что это такое — флюгер? Можно его где-нибудь посмотреть?» Неподалеку — аэродром сельскохозяйственной. Туда отвезли мастера и показали флюгер, прикрепленный на высоченном шесте. Он, не вылезая из машины, взглянул и сказал: «А-а-а... Едем домой». — «Да ты посмотри получше, душко». — «Все уже посмотрел». Флюгер был готов через несколько дней. Прежде чем поставить в школе, его решили показать начальнику аэродрома — все ли так. Тот, когда увидел, не поверил глазам, даже вышел из конторы — взглянуть, на месте ли их аэродромный флюгер.

Сделанный мастером был точной копией их флюгера — все до мелочей, окраски, кройки деталей — все копия «настоящего». Вот какой глаз, какая хватка!

Покончив с бревнами, душко вышел из сарая, и мы несколько времени прохаживались по дорожке вдоль шпалер винограда, где лозы вились около железных столбиков по железной проволоке. Не придавая большого значения своим словам, я сказал что-то о деревянных и бетонных столбиках для шпалер...

Мастер не стал доказывать, какие лучше, он лишь заметил, что не любит дерева. При этом выражение лица у него было такое, будто речь идет не о материале, а о каком-то никудышном человеке, с которым каши не сварить и лучше с ним не связываться... Больше всего любит он железо, сталь, потом — бронза, медь, цинк и все остальное... Произнося слово «железо», он, показалось мне, слегка улыбается и прищуривает глаза под очками. Нет такого куска, на который он не посмотрел бы — пусть самый ржавый, давно брошенный, — стоит увидеть — и тотчас находит ему место, мысленно пристраивает для дела, и руки сами тянутся — унести к себе...

Умел он не меньше любого образованного механика, но сверх того было у него еще и наивное восхищение самим видом, возможностями металла, и он всю жизнь эти возможности испытывал, перебирал, оглаживал и превращал в свои изделия. Пожалуй, человек дипломированный ограничен уже самим своим дипломом — он, в конце концов, занимается профессиональным делом по обязанности, потому что ничего иного не умеет (хотя и он, конечно же, может любить свое дело). Нашего мастера никто и ничто не «обязывало» заниматься железом. Он полюбил железо, полюбил душой, именно полюбил — другого слова нет, — и с тех пор остальное его не интересует. Поэтому на каждом куске, прошедшем через его руки, — печать любви. Он мог бы выбрать любое из деревенских дел, но выбрал это, и выбрал по сердцу.

Мастер помолчал и вдруг сказал, что мог бы из железа сделать человека. Пока нет в этом нужды, а если понадобится — соберет, будет, как живой, ходить и работать. В тихом сиповатом голосе его нет ни тени рисовки или бахвальства, он так убежденно говорит, что веришь — сделает.

И на мгновенье какой-то выгиб тени у шпалер показался мне угловатым созданием, пригнувшимся, чтоб железными пальцами поправить лозу...

И тогда же, сказав, что не любит дерева, мастер упомянул о каком-то «бочваре» — бондаре, как человеке, только дерево и признающим. И в словах этих таилась теплота и улыбка. Видно, бочвар нравился ему, несмотря на пристрастие к дереву.

Христо рассказал попозже, что в деревне живет второй знаменитый «до самого Дуная» мастер — бочвар. Лучше него никто не делает бочек, он может сбить посудину с дом величиной и может — с наперсток.

Деревня знаменита своими «железным» и «деревянным» мастерами, как бы поделившими между собой владенье этими материалами, — что может один, не умеет другой. Так и живут они много лет, не заходя в соседние владения, и никому в голову не взбретет заказать бочку «майстору», а насос для водопровода «бочвару». Но, несмотря на разницу пристрастий, они давние друзья и дарят друг другу свои изделия, поэтому у «железного» мастера бочки для вина и ракии — хоть ставь в музей бондарного искусства, а у бочвара мастерская полна приспособлений, сделанных майстором, и в хозяйстве всюду моторы, насосы, водопроводные трубы, поставленные душко.

Еще там, у калитки, едва увидев его, я сразу почувствовал, что давно с ним знаком. Это как узнавание новых мест родного края — ты никогда не был тут, но едва взглянул — ясно — это твое.

Бочвар — большой, крупный, грузный человек, поэтому все, что рядом, кажется маленьким, почти игрушечным. Пропуская

нас, он придерживал сбитую из планок вихлючую калитку, и ждалось — она вот-вот развалится под его тяжелой рукой. И еще мне почудилось — калитка так узка, что в нее можно лишь пролезть боком, но она была обыкновенной ширины, правда, бочвар, проходя, закрыл ее собой целиком.

В оправе заходящего солнца он сам, как массивный слиток лучей. Таким бы и написать солнце — с большой круглой головой, излучающей ежик низко стриженных седых волос, медно-пламенными щеками и мясистым носом, с губами, как-то особенно изогнутыми улыбкой. Когда бочвар улыбается, губы не растягиваются, а выгибаются, и лицо, вопреки крупным морщинам, становится совсем молодым, он в одно мгновение переносится из шестидесяти лет в юность.

Он взял нас за плечи, прижал по бокам к своей мощной груди и повел в глубь двора. И руки его не были тяжелы, хотя через рубаху я чувствовал натруженную шероховатость ладоней и крепкую силу. Он осторожно обнимал нас, как будто мы два птенца, и просчитайся немного, сожми руки посильней — останется мокрое место. Но сила его была доброй, и такого просчета не могло случиться. Прижимая наши плечи, он как бы переливал в нас свою доброту. В этом жесте столько искренности, что совсем не чувствовалось момента знакомства, всегда настоженного ожидания неизвестного — хорошего или дурного. Тут сразу сделалось ясно, что мы ему по душе и нам с ним легко и вольно. Мы попали в его мир и подчинились ходу его жизни, подчинились с радостью, словно нырнули в теплую реку и поплыли по течению.

Он подвел нас к колодцу, сложенному из тесаного камня и массивных деревянных брусьев, опутанных шлангами, прозрачными трубами, какими-то приспособлениями. Он сказал, что сейчас время вечернего полива, поэтому мы можем подождать в беседке или, если хотим, пойти с ним на огород. Насчет беседки он сказал на всякий случай, ему не хотелось нас отпускать, но не хотел он и связывать нас ходом своих забот. И

когда мы отвергли беседку, он обрадовался, сжал нас посильней, заглянул в лица, засмеялся счастливо.

И тотчас что-то загудело в колодце, черный шланг ожил, выгнулся и обдал нас крепкой струей. Мы увернулись, но шланг сам пополз вслед за нами. Бочвар со смехом стал его ловить, и шланг все вывертывался из-под рук, выбрасывая пенистую воду, шипя и вздрагивая. Мы принялись помогать, и в этой веселой неразберихе он был как проказник мальчишка — так быстры и ловки движения, так легок он, так далек от солидности, обременяющей обычно человека в эти годы.

Наконец шланг попался — бочвар торжествуяще держал его, как укрощенную змею, и явно хотел разок обдать нас настоящим, прицелившись, чтоб до нитки. Мы с каким-то щенячьим визгом ждали и прятались за дубовым брусом. Но он раздумал — пустил в небо радужный, трескучий залп и переключил воду в прозрачные трубы, поверху тянувшиеся куда-то через двор.

Там, за сараем, был довольно большой огород, перегороженный стеной кукурузы, четко прочерченный грядками салатной зелени и выстеленный ничем еще не занятой мягкой, парной землей — видно, что каждый комочек размят пальцами, взлелеян и обогрет. Стоило увидеть эту взбитую черноземную перину, и глаза поднимались к рукам бочвара и отмечали родство этих рук с землей: было в них что-то от корней, от веток — и по цвету, и по силе, и по любви. И сам он выглядел здесь как порожденье земных соков и земной мощи, которую возвращал земле своими руками. Его большие из грубой кожи башмаки, надетые на босу ногу, выгоревшие синие штаны, старая куртка — все было в земле и солнце, все выросло из этой первородной основы, дышавшей теплым паром, навозом и сочной зеленью.

И он сказал почтительно, с восхищением, с удивлением, как говорят о матери, давшей миру многих детей, что это уже третий урожай: весной сняли ранний салат, затем кукурузу на зерно, сейчас кукуруза на силос, а здесь, на отдыхающей земле,

будет четвертый урожай — осенний салат из рассады, которая на этих вот узких грядках. Салат отправляют в Вену, отсюда приходят холодильники, и его прямо с огорода — в вагоны...

Из прозрачной трубы вода бежала между грядок, и земля становилась черной, как тушь. Бочвар следил за водой и направлял ее, куда надо. Потом он провел нас под навес, где стояли мешки с калийной селитрой, в бетонном крытом бассейне бродил навоз, на низких вешалах висели золотые косы крупного лука и гирлянды сизовато-серебряного чеснока, тоже большого и яркого. Он снял гроздь лука и, любуясь, оглядел со всех сторон — хорошо ли подсыхает. Вечернее солнце золотило его голову, и руки его были, как теплая медь.

И сам он — мускул этого живого мира: земли, ждущей рассады, нежных мотыльков салата, крутого сока матерой кукурузы, связок лука и чеснока, под которыми прогнулись толстые жерди. Он охватывает своим теплом, окутывает облаком, и от него уже невозможно оторваться. Не замечаешь, как начинаешь видеть мир его взглядом, вместе с ним прорастать в побеги, листву, в деревья, в небо и в землю, начинаешь понимать нечто затаенное в безмолвии живого, проникать в подспудное невидимое течение, пронизавшее все сущее и роднящее тебя с каждой живущей малостью. Таким должен быть Дух Земли, всемогущий и добрый.

Движения его легки, летящи и вместе с улыбкой составляют негаснущее впечатление молодости, неизбывной силы, веселости. Он протянул мне подержать косу лука, протянул, будто гирлянду пустотелых елочных шариков. Я не мог даже подумать о веселом подвохе — взял на палец, и руку потянуло к земле плотной золотой тяжестью, я чуть не выронил лук. Бочвар засмеялся, хлопнув себя по штанине, и сказал, что связки приходится делать тяжелыми — ведь под навесом тысяча килограммов лука...

Тут он прислушался к чему-то, слышному только ему, улыбнулся про себя и, поманив нас, быстро пошел во двор. За ним трудно было угнаться — шел он не только быстро, но и

умело. Нам приходилось смотреть под ноги — не помять бы рассаду, не влезть в сырую землю, а он, не глядя, ставил ноги в огромных башмаках по узкой дорожке между грядок.

Мы еще только входили, а он уже открывал калитку, из которой вырвалась таким ревушим вихрем черная, косматая, с горбатым загривком и плоскими, прижатыми назад рогами корова. Грозно мыча, она галопом побежала через двор прямо на нас. Под пугающий смех бочвара мы шарахнулись в сторону. Мы еще не понимали его шутки: мы случайно оказались рядом с воротами хлева, к которым устремилась корова, и до нас ей не было никакого дела, она всего-навсего спешила к теленку в хлев, где и скрылась, не удостоив нас даже взглядом.

С ревом и взбрыкиваньем она заметалась по клетке. Бочвар, успокаивая, обнял нас за плечи и объяснил, что это она от переизбытка чувств, от радости, что вернулась к телку. Чувства ее никак не спадали — черным вихрем носилась она внутри хлева, и телок не мог поймать вымя. Тогда бочвар схватил корову за рога, силой подвел к столбу и привязал.

Бочвар сказал, что это буйволица. Здесь многие предпочитают их коровам — молоко раз в пять жирней коровьего, но и мороки больше, чем с коровой. Однако про мороку он, видно, повторил общее мнение, иначе не поглаживал бы с такой лаской буйволицу, еще страстно дрожащую, норовящую лизнуть телка. Эта бьющая, рвущаяся сила была как раз по нему.

В конце концов, управившись с вечерними делами, повел он нас в мастерскую. Здесь, как и в остальном, в отличие от «железного» мастера, была у него некоторая разбросанность, небреженье к мелочам. Располагалась мастерская в старом саманном сарае, несколько покосившемся, вросшем в землю, со всех сторон обложенном бревнами, брусьями, обрубками дерева, кучами щепы и опилок.

Бочвар открыл скрипучую дверь, вошли в сумрак, кислотовато пахший дубом, пыльной корой, сухим деревом, стружками и еще чем-то живым и теплым. Он включил свет — осветился

верстак, ленточная пила — копия той, что у мастера, но поменьше, ряды инструментов на полках и в деревянных гнездах на стене, горка дубовой клепки, бочка, еще не собранная, распущенная, как деревянная ромашка, огромный чан, занимавший едва не четверть мастерской — целый дубовый дом для винограда, бочонки — великие и малые — с деревянными кранами, днища, еще не округленные, лишь собранные на шпонках и размеченные...

Это был как бы первозданный хаос, в котором разбирался лишь один творец — бочвар. Он стоял под лампой, оглядывая зародыши будущих бочек и оценивая уже рожденные изделия. Тут ему было тесновато — голова почти упиралась в потолок, но зато от верстака можно дотянуться до каждого инструмента, и все здесь привычно. Наверное, тут он мог бы работать даже в темноте.

И мысли настраивались на торжественный лад, подумалось, что ведь отсюда, от его рук, начинается искусство, без которого нет виноделия, ибо для вина бочка — чрево, где вершится таинство зачатия и вызревания. Выгнутые дощечки, соединенные обручем в цельный и прочный сосуд, хранят тончайшие свойства. И не тут ли появляется на свет нечто, помогающее виноделам придать вину благородство, изысканность, особость, по которой отличают лучшие марки.

И бочвар казался уже кудесником. В игре света и резких теней глаза его наполнились неведомым знанием и мудростью.

Он не мог просто показывать свои бочки и рассказывать на словах, как они делаются. Едва мы подошли к одной, стоявшей еще без днища, он потянулся за инструментом — руки не удержались, и он не стал их сдерживать. Бочвар подвинул латунные головки на каком-то замысловатом сооружении, рогатом, сверкавшем жалами резцов, потом приставил к краю бочки, легко и сильно повел — дерево с треском подалось, посыпались крупные куски, а позади инструмента остался ровный желоб для днища. Он хотел лишь показать, как режется желоб, но, начав, не мог оторваться и не отошел от бочки, пока

не закончил. И, увлекшись, забыл про нас, и вспомнил, и взглянул растерянно — эго ведь — забыл про гостей, и обрадовался, увидев, что мы с интересом смотрим на его работу.

...А вон там, на полке, ярко-желтый бочонок светится и горит в полутьме. Что за дерево? Почему и для чего такое?

Бочвар берет бочонок, осматривает, поглаживает, поворачивает к свету и, медленно подбирая слова, начинает говорить о цвете и вкусе дерева, об оттенках, переходах, о запахе, о крепости и слабостях, о всякой тонкости и неуловимости. Ему трудно, ибо никогда не пробовал сказать о том, что знает, что видит и пробует на язык. И на лбу его выступает пот, и он вытирает лоб рукавом, и губы изгибаются в смущенной улыбке.

Этот желтый бочонок сделан из черницы — так болгары называют шелковицу, тутовник. В него наливаю ракию — сливовую водку, прозрачную, как горный ручей. Ничего другого наливать в него не надо, да и незачем, ибо этот бочонок — только для ракии. Простояв некоторое время, ракия обретает в нем цвет золота. Посмотришь сквозь чашу — и даже самый пасмурный день окрасится солнечным светом, ведь бочонок из черницы сам, как сгусток солнца. И что удивительно, он никогда не теряет этого свойства. Есть бочонки, прослужившие по сто лет, через них проплыли реки ракии, но и сейчас — стоит налить туда ракию нового урожая, она неизменно станет золотой. Откуда эта сила солнечного цвета, его неизбежность, неиссякаемость, щедрость?..

Бочвар прикрывает глаза, думает, сжимая бочонок пальцами, похожими на обручи, откованные из старой меди.

Такая сила не может быть у мертвого дерева — значит, дерево живет... Да, живет даже тут, распиленное на части, живет, и отдает себя, и не скудеет, потому что делится своими соками, своим золотом, своим богатством. И в этом жизнь, в этом радость — отдавать. И земля радуется отдать, и живет, пока отдает, и человек. И в этом тайна вечного возрождения и

умноженья. У того, кто отдает, обретается новое, чтоб снова его отдавать. Рука дающего не оскудевает. И в этом сила всякого ремесла, мастерства и искусства: чем больше делает человек, чем обильней его творенья, уходящие в мир, тем сильней его руки и тверже глаз, обширней сердце, и тем радостней множит он богатства мира. И в этом истинная вера, помогающая человеку жить. И бочвар тихо сказал что-то, и мой друг Христо согласно покачал головой, и они вместе стали переводить, чтоб я понял, и получилось, в конце концов, изречение: «Вера твоя — мастерство».

Потом я попросил бочвара подарить мне кусок черницы на память. Он несколько удивился — с такой просьбой к нему обращались впервые. Он задумался — можно ли дарить дерево, но тут же обнял меня за плечо и сказал, что красивой дерева нет ничего на свете, поэтому дерево можно дарить.

Он повел нас из сарая во двор к штабелю коротких бревен, сложенному под покосившимся навесом. От непогоды и пыли бревна стали одинаково серыми, скучными и корявыми. Но бочвар видел их насквозь, для него не было ни ошметков старой коры, ни почерневших торцов — одним взглядом он раскрывал древесину и прослеживал скрытый внутри тонкий рисунок слоев, различал оттенки цвета, его переливы и переплетенья...

Он тронул бревнышко наверху, но раздумал и опустил руки; вынул из середины, разворошив тяжелый штабель, осмотрел, постучал ладонью и тоже отложил в сторону. Только третий чурбан, застрявший где-то сбоку, придавленный к стояку и ничем вроде бы не примечательный, он вытащил вместе с облачком пыли. Он держал его в руках, как держат ребенка, и рассматривал торец, как разглядывают лицо. Да, это было то, что надо. Он сказал, что из такого дерева получится добрый бочонок и пусть, поэтому у меня хранится на память кусок от него.

Бочвар внес бревнышко в мастерскую, бросил на железный стол перед пилой и включил рубильник. Через мгновенье в

руках его засверкал брусок золота. Не верилось, что старое почернелое дерево может зацвести так ярко и солнечно. Оно и впрямь живет даже высохнув, даже оторвавшись от корня, от земли! Остановив пилу, бочвар подошел к верстаку и там заверещал рубанок, спрятанный внутри. Он только прикоснулся бруском, и тотчас на дереве ожили, переплелись, побежали, разлетелись, затрепетали жилки, слои, разводы, изгибы около едва приметных, зарождавшихся сучков...

Бочвар протянул мне брусок. Дерево было горячим от работы, и напоминало буханку хлеба, только что вынутую из печи.

Я разглядывал его — рисунок слоев нигде не повторялся, он везде был особый, и золотой цвет переливался сотней оттенков. Бочвар наклонился ко мне, глаза его удивленно и трепетно пробегали обнаженную сердцевину. Он видел больше и глубже, чем я, но он тоже видел все это как бы впервые, потому что даже у самого бедного дерева душа неповторима. И тут глаза наши встретились, и я увидел, что он радуется тому, что я люблюсь деревом...

Приходит пора завершать небольшую эту книжку. Чем же закончить ее? И подумалось — надо рассказать о самом главном труде, предваряющем труд земледельца и пастуха, труд рабочего и художника, предваряющем всякий труд,— рассказать о Труде и Мастерстве, без которых нет Человека, а значит, нет и никакого иного труда и мастерства,— рассказать о тяжелой и радостной работе Матери.

Не занесена эта работа в перечень профессий, не существует такой специальности... Все это, видно, потому, что никакая иная профессия и специальность с ней несравнима, несопоставима...

И еще: о труде Матери, как ни странно, написано очень даже не много, труд ее (в повседневности, в мелочах, которые по значимости поважней иных трескучих «дел») почему-то не

привлекал особого внимания, а ведь в нем свой ритм и напряжение, свое мастерство и свой неповторимый продукт — мы с вами, все поколения, населявшие, населяющие и вселяющиеся ныне на нашу матушку-землю.

СУТКИ У ИСТОКА СУДЬБЫ

Будто молния рядом ударила...

Отбросила одеяло, села. Три часа ночи: знала, не глядя на часы. Тяжелый сон давил, не одолеть...

Могла лишь прислушаться: малышка дышала ровно, легко. Это мягкое, едва слышное посапывание сейчас было единственным звуком, проникавшим в сознание.

Разлепила глаза, отвела волосы. Почти в полной тьме увидела личико и очертания спеленатой дочки, прикрытой легким одеяльцем.

Опустила ноги на пол. Сон спадал ощутимой тяжестью...

Наклонилась к кроватке. Не хотелось будить эту засоню маленькую. Улыбнулась во тьме, протянула руки... И тотчас девочка вздохнула, причмокнула и потянулась. И сделалось радостно от такого сочувствия, и от собственного опережения желаний малышки... Протерла грудь, мучительно вспоминая, ту ли, из которой надо кормить... В прошлый раз была... Какая же?.. Правая? Да, да. Значит, теперь левая...

А девочка причмокивала все нетерпеливей.

Тихонько притронулась к ней, уловила ее особенное, родное тепло, отличавшееся от любого иного тепла. Тончайшее и глубинное, оно угадывалось сразу, притягивало, радовало; и что-то в нем таинственное, непонятное — твое, а теплится вне тебя. И самая отдаленность эта делала ребенка еще родней, невозможно жить, не впитывая ее тепла...

Осторожно просунула вниз ладонь и ощутила горячую влажность. Другая рука привычным движением — под головку. Подняла и, независимо от сознания, отметила, что девочка

полегчала. И кольнула тревога — вдруг не от того, что не кормлена, полегчала?.. Нет, нет, не надо выдумывать. Руки сказали, что тепло здоровое. Малышка здорова.

Перенесла на стол, где заранее приготовлены чистые пеленочки; развернула, поскорей сняла мокрое, протерла сухим концом.

До чего ж мала... Сколько впереди... Подумала и испугалась бесконечности, которая ожидала.

Девочка открыла глаза, раскинула освободившиеся ручки. Теперь тьма превратилась в серый свет, и хорошо все видно, а лицо ребенка совсем как при освещении. Глазки смотрят выжидающе. Не отрывая взгляда от крохотного личика, привычно нащупала вату в банке справа, щепотью прижала к пузырьку с кипяченым маслом, протерла, где надо, и завернула девочку в сухое, сама с нетерпением ожидая начала кормления...

Этот миг, когда губки тычутся жадно, и не находят, и капризно причмокивают, и радостно им помогаешь... Наконец, получается все. Первый полный глоток, вслед за которым ротик начинает работать наподобие маленького, но сильного насоса.

Это единение сладкое и глубокое! Радость от того, что твоя сила вливается в родное существо, передается ему, насыщает его. Блаженство освобождения от животворящего груза; блаженство прислушивания к тому, как лежащая на коленях малютка набирается твоей излившейся тяжести. Ощущение это с каждой минутой полней и весомей — девочка, словно наполняющийся кувшинчик.

Если присмотреться, можно увидеть вокруг губок белую полоску молока — оно так обильно, что насосик не может справиться, и полоска пульсирует и сохраняется до самого насыщения.

Губки, такие нежные снаружи, внутри, где захватывают грудь, ребристы и жестковаты, как настоящие рабочие мозоли; и в минуты кормления мать не оставляет желание подсобить

малышке в этой ее работе, первой нелегкой работе... Впрочем, настоящая работа никогда не бывает легкой.

В темной тишине отчетливо слышно, как молоко течет по горлышку. Своя невыразимая мелодия... И еще придых, в котором угадывается даже короткое словечко — не то «ле», не то «ля»... И звуки эти прекрасней музыки, значительней любой мудрости.

Наконец, губки заработали медленней, ленивей, без начальной жадности. И совсем остановились. В сумраке видны глаза, устремленные к матери. Дочь и мать смотрят друг на друга, отдыхая и радуясь нерасторгнутой еще прекрасной близости... Потом малышка принимается за свое дело с прежним усердием, но ее хватает ненадолго; опять примолкает, хоть и не отпускает грудь... По тяжести ее, по сонной вялости, сменившей нетерпеливую напряженность, понятно, что кормление окончено. Сыта. И все ж они медлят отрываться. Малышка сонно посапывает, а все не отпускает; мать понимает, что той пора в кроватку, а все не хочет нарушить единение, лишиться удивительной радости чувства слитности, внутренней невыразимой радости, что так полно, до отвала накормила...

Малышка отпускает, наконец, грудь и в глубоком сне отваливается, окончательно убеждая, что совсем, до капельки сыта.

Мать осторожно встает, потихоньку ступает, и путь до кроватки кажется долгим, полным тайных опасностей (не споткнуться, не загромоздить стулом в темноте, не наткнуться на стол)...

Укладывает, прикрывает одеяльцем, смотрит на крохотное личико. Как может, оттягивает другое обязательное, но мучительное и надоевшее дело... Наконец, с неохотой принимается. Надо сцедить оставшееся молоко (всего малышка не выпивает, оно может перегореть — нужно до конца, совсем опустошиться). Пристроилась к мисочке, стоявшей на столе, с усилием сдавила грудь. Тонкая острая струйка не сразу попала в миску — зазвенела по клеенке, оросила щеку... Пальцы

устают, руки ломит, капля пота течет по лбу, прилипают волосы — кое-как вытирает и давит, давит до изнеможения. Боль, усталость, наваливающийся сон... И только жесткое сознание, что нельзя оставлять ни капли, помогает терпеть боль и усталость.

Ну, вот и все. Пусто. Облегченно вытирается полотенцем; почти падает в постель и, не коснувшись подушки, засыпает...

Будто где-то рядом колокол ударил... Нет, это в голове — вспышка и гром. Значит, уже шесть утра. Так сразу... Едва прилегла, и тут же...

Проклятый сон, мешающий в ранний этот час... По-заведенному перепеленала, приготовилась кормить...

И рука задержалась на головке малютки. Словно тронула невиданный теплый плод, покрытый почти неуловимым пушком (по сравнению с ним ворсинки персика — свинья щетина). Трепет и радость невыразимая — поглаживать, удивляться тончайшей нежности этих волосиков, совсем недавно чудом возникших из ничего и еще таящих сладкую неуловимость чуда. И собственная рука — что-то механическое, неуклюжее, грубое; и подступает боязнь сделать больно беззащитной головке, и оторваться невозможно...

Нагнулась, заглянула в глазки, встретила взгляд и не без робости порадовалась появившейся уже осмысленности, даже глубине, затаившейся там...

Совсем ведь недавно были они задернуты серо-синей пленочкой и глядели в никуда, и появлялся страх — видят ли?.. И первое испытание, устроенное дочке,— поведет ли взгляд за яркой погремушкой?.. И ужасное ожидание ответа... А вдруг...

И вот уже зрачок определился, и обнаружилась нежнейшая, чистой синевы с тонким рисунком роговичка. Глаза малышки смотрят прямо в глаза матери, девочка словно хочет вымолвить что-то, никем не изреченное, из таких глубин идущее, перед которыми и взрослого возьмет оторопь, и человек потеряется, не подобрав слов. Будто сама Природа испытующе, загадочно смотрит из первозданных этих зрачков, не тронутых житейской

суетой. В такие мгновения мать сознавала себя беспомощной, оробевшей, испуганной глубиной и недоступностью безмолвного вопроса...

Муж вышел из соседней комнаты, когда кончила кормить. Сонный, мятый, волосы перьями на макушке, глаза полуслипшиеся. Хотел подойти, загремел стулом... Она рукой запретила — не разбудил бы малышку... Он зажал зачем-то рот ладонью и на цыпочках, нелепо ступая, вышел в прихожую. Каждое утро она не переставала искренне удивляться, что муж, спокойной проспав целую ночь, такой сонный и при всяком случае жалуется на недосыпание...

Но это все мельком, в полусне уже... Еще часа полтора можно... Проваливается в сладкую бездну и смутно слышит, как щелкает замок. Ушел на работу... Успел ли замочить ночные пеленки?.. Единственный вопрос, к мужу относящийся... Сон мгновенно стирает щелчок замка и вопрос.

Просыпается в восемь. Совсем светло. Еще целый час до кормления... Успеть простирнуть пеленки. О-о-о... Мокнут в тазике. Шевельнулось что-то теплое к мужу, но к теплоте этой всегда теперь примешивается доля снисходительности и даже некоторой жалости. Она понимала и была убеждена — ему никогда не проникнуть в их с дочкой мир, никогда не слиться так, как они сливаются, не прочувствовать того, что они чувствуют... И внимание, которое он им уделяет, в сущности, ничтожно, несущественно, и ничего бы не изменилось, не будь вовсе этого его внимания. Она подумала так нарочно, чтоб до конца обострить мысль... И тут же засомневалась в ее справедливости...

Быстро умылась и привычно до завтрака взялась за стирку. Теперь ей казалось, что она всегда, всю жизнь только и делала, что стирала, стирала... Выжимая, почувствовала боль в сухожилиях правой руки — от кисти до локтя. Одно и то же движение, напряженность все тех же мышц сначала вызывали просто быструю усталость, а теперь вот — боль... Словно внутри высохло, и там все трется от сухости... Но

прислушиваться к боли некогда. Быстро развесила выстиранное по веревочкам в кухне; без передыха плеснула из пакета молока, торопясь, выпила с хлебом и только тогда отдышалась. Пить больше не хотелось. Но налила вторую кружку и заставила себя выпить до конца. Вкус молока был неприятен, подчас противен — столько приходилось вливать в себя за сутки. Но пить надо по той же необходимости, как и кормить, стирать, мыть, купать...

Вошла в комнату, когда часы показывали ровно девять — минута в минуту. Вполне можно бы обходиться без часов; смотрела на них скорей по привычке, чем по необходимости.

Девочка уже потягивалась в своем коконе, чмокала сонно. Потом открыла глазки, внимательно посмотрела на маму: готова ли?

— Сейчас, сейчас, — тихонько ответила мать. — Сейчас...

Куда же ножнички запропалились? Пора ноготки стричь — острые отросли, того и гляди оцарапается во время переодевания, когда меняется распашонка с зашитыми марлей рукавчиками, и малышка не знает, что делать с ручками, тычет куда попало, в глазок не угодила бы...

Прошлый раз ноготки попробовала стричь во время переодевания — заплакала, стала вырываться... Так и оставила ее. И тогда ж осенило: стричь, когда девочка увлечена кормлением и ничего вокруг не замечает.

Хитрость очень даже удалась. Малышка и не почувствовала, как мать взяла ручку, отвела пальчик, приблизила ножнички... И ножнички эти, маленькие и, как принято было считать, изящные, вдруг оказались огромными, неуклюжими, страшными. Как поддеть ими прозрачный ноготок и не ошибиться, не поранить нежнейшую розовую плоть, из которой он вырастает?.. Примерилась. Грубые, ужасные собственные пальцы с чудовищными этими почти кузнечными клещами... Наконец, подцепила красшек, с опаской подрезала. Пот прошиб, и стереть нельзя... А ноготок лишь до половины... Дальше, дальше... Ох, не уж-то, дело к концу?.. Отскочил...

Вобрала воздух, опустила руку с ножницами. Будто ведро воды подняла из глубокого колодца... Отдышаться... А впереди еще девять ноготков.

До конца кормления прошлась по всем пальчикам, вовсе обессилела, и все ж сама себе показалась необычайной изобретательницей и удачницей.

Уложила в кроватку, полюбовалась мгновенье; вспомнила о делах.

Все по-заведенному пошло. Бак — на большую конфорку электрической плиты, чайник — на маленькую. Затем, ни секунды не теряя, сдернула с веревки проявившуюся марлю и пеленки, мимоходом включила утюг, бросила на стол старое одеяло, принялась проглаживать, и сердце радовалось, что всего много — не то, что вначале, когда приходилось стирать одно за другим почти без перерыва, не успевало сохнуть... Потом прибралась в комнатах. Тем временем закипел бак с бельем, сняла, вынесла в ванную и, не выключая плиты, на его место водрузила другой — вскипятить воды для вечернего купания. Тут же начала стирку.

Пар ударил в потолок ванной. И заметалось — краска на стене вспухла пузырями, начала крошиться. Вспомнила отставшие обои в прихожей, отшелушившуюся побелку потолка... На мебели, на стенах — пятна от молока (это ночью, когда сцеживала, брызгало вокруг)... Вещи не выдерживали напряжения. С ними будет еще мороки — ремонты, починки... Но об этом так, мельком, все это на потом, на после... В общем-то, пустяки все...

Для чуда этого, для прелести, для глазок, где звездная глубина, где сама Природа смотрит и беззвучно говорит, — для этого ли жалеть какие-то вещи?... Самая мысль о жалости такой кощунственна. Забыть, отбросить все мелочи, все пустяки на потом, на после, это чепуха все, шелуха...

Пеленки перестирала (каждую особенно, каждую знала до ниточки, детским мылом каждую, руками... Стиральная машина пылилась в углу — утробе ее железной, бездушной не доверяла.

Только руки могут по-настоящему... И полоскала сначала в простой воде, а напоследок в кипяченой).

И услышала: в кухне что-то щелкнуло громко, будто лопнуло... Не сразу взяла в толк, не вдруг оторвалась от дела. Вытерла руки, вышла посмотреть... Все как было, ничего не изменилось. И тревожно от неизвестности — ведь случилось что-то... Что же?..

Вскоре закипел бачок с водой для купания. И когда сняла его, увидела, что большая конфорка лопнула, как старая сковородка — посредине трещина глубокая — не выдержала (часов по пятнадцать в сутки горела).

Как же теперь? Можно ли ее включать? Скоро ведь воду греть.

Все вопросы и тревоги смело полуденное очередное кормление. Разом все забылось.

И тут случилось нечто замечательное, удивительное и прекрасное... Прежде чем взять грудь, маленькая посмотрела на маму и улыбулась. Улыбнулась! По-настоящему улыбнулась — весело и даже хитро, будто у нее с мамой какая-то радостная тайна, которую кроме них никому не узнать.

Когда же и как она научилась улыбаться?

Кто ее научил? (Что-то похожее на ревность шевельнулось.)

И тут всплыла мысль, что девочка с а м а стала улыбаться, сама, самостоятельно.

Это ж значит... Это значит, что у нее начинается своя жизнь, своя, отдельная от матери.

Насытилась, наполнилась, отвалилась, раскинула ручки. Глаза полураскрыты — не понять: уснула или только засыпает. Стоило матери пошевелиться — опять улыбнулась, приоткрыла глаза и тут же уснула.

Так. Пора за стирку. Опять набралось. Малышка вымачивает в час по четыре подгузника — почти сотню в сутки. Да еще пачкает все насквозь пятнадцать раз. Такая арифметика.

Не успела оглянуться — три часа дня.

Перед кормлением немножко поиграла с дочкой; и вдруг подумалось — не попробовать ли учить разговору? И оробела перед этим желанием, понимая, как далеко еще до первых слов. И все же. Девочка смотрела, будто ждала, и мама стала медленно повторять: «агу... агу...»

И та в ответ раскрыла ротик, словно хотела сказать «а», но не смогла. И в том, что она правильно округлила губки и пыталась сказать — уже чудо и радость. Мать нежно потрепала ее по грудке, помяла за плечики, расцеловала, и девочка улыбнулась. Настоящая улыбка! Чистая безмятежная радость. У взрослых не случается таких улыбок, таких откровенных, ничем не замутненных, беспричинных.

Опять суета с постирушками, с мелочами, с готовкой обеда. Чуть опомнилась — уже шесть вечера. Покормила, и вскоре пришел муж. Едва его увидав, почти крикнула главные новости: — Она улыбнулась! Сама улыбнулась, представляешь! И ноготки мы постригли на ручках!

...Он словно из небытия, откуда-то из иного мира вернулся, оттуда, где размеренная жизнь не знает постоянного, каждоминутного напряжения, которое не кончается даже во сне, оттуда, где самое время течет по-иному... Он не сразу мог войти в домашний ритм и сначала выглядел замедленным, неповоротливым. И сама эта его вялость казалась недоступной роскошью, в существование которой почти не верилось...

Неужели и она приходила когда-то с работы и так же, думая, что устала (господи, какая может быть усталость от работы, которая кончается!), вяло, не торопясь, обедала, отдыхая (от чего? оттого, что осталось где-то за стенами дома!). Невозможно теперь даже представить.

И еще она мельком вспомнила о влюбленности, о страданиях и утехах. И все это выглядело тоже бледным, неправдоподобным. Теперь-то ей было ясно, что вся предыдущая жизнь — учеба, работа, любовь — все лишь бледное предисловие к сегодняшней жизни, все было

черновиком, наброском, было чем-то ненастоящим, а настоящее началось только с рождением ребеночка...

Пора воду греть для купания.

Муж сам догадался — налил большую кастрюлю. Увидел лопнувший круг плиты, медленно разглядывал, спросил, когда случилось. Включил. Плита нагрелась — значит, можно еще... Утром скажет монтеру, а пока сойдет...

Купание. Самое хлопотное за сутки событие, самое тревожное. Волнение к горлу...

Водичка еще не согрелась (именно водичка, а не «вода» — только это слово подходит, когда готовятся к купанию). Расправила на столе мохнатое полотенце, поверх положила стирающую-перестираную (поэтому самую мягонькую) пеленочку, рядом — чистую распашонку и все, что нужно...

Согрелась ли водичка?

Муж прибежал из кухни, мямлит что-то насчет градусов... Все готово. Теперь можно самой проверить. Градусы градусами, а локоть лучше. Хорошо. Можно начинать. Внесение ванночки в комнату. Наливание ванночки. Последняя проба: не холодна ли. Пора!

Девочка знает это время, понимает смысл суеты и тоже волнуется, посматривает из кокона...

Раздеваемся, раскрываемся... Ох, какие мы опять мокренькие! Сейчас вымоемся!

Осторожно берет малышку — она помещается на ладони грудкой и головкой — чтоб не захлебнулась. У нее головка еще не держится.

Ух! Опустились в водичку!

Напряжение — будто с тяжелой ношей на льду. А ведь она в воде совсем ничего не весит, и это-то самое страшное.

Как ей нравится! Ножками стучит, ручками гребет.

Мать осторожно моет спинку, рука груба, как наждак! Не оцарапать бы!

Занятая мытьем, не углядела — дочка изловчилась и, видно, который раз уже тянет мокрую ручонку в рот... Любит, баловница, пить из ванночки... Едва отвела крошечный кулачок, только принялась мыть головку — опять зачмокала: пьет! Ну, что ты будешь делать!

Мужа попросила, чтоб смотрел. Тот нагнулся неловко (ведь как деревянный, будто никогда не купал ребенка!), взял кулачок двумя пальцами, словно жука... Девочка тут же вырвала и — в рот!

Настоящий норов! Маленький человечек: что хочу, то и делаю! Чмокает на весь дом. Папа почти плачет. Мама спешит, домывает.

И лихорадочная, радостная мелькает мысль: это ж характер, самостоятельность, первое желание и борьба за его исполнение — двое взрослых не могут помешать — добывается чего хочет! Вот начало, первое столкновение с трудностью жизни, самоутверждение — вопреки всему сделать что хочется! Это ж прекрасно! Конечно же, прекрасно! Хоть и нельзя пить грязную водичку...

Ну, вот и все! Вымыли. Ох, будто жернова крутила. Обтереть вспотевшее лицо.

Девочка спокойно лежит, блаженно. Отдыхает. Глазками за мамой следит.

Прошло с полчаса.

И тут заныла тихонько, заворочалась в своем коконе; личико скривилось, глазки слиплись...

Заплакала! Сначала как бы капризная, но скоро всерьез, будто от обиды горькой. И вот уж закричала надсадно.

Комната наполнилась ее звенящим, пронзительным голосом — окна зазвенели. Даже страшно — у такой крохи столько силы,

Взяла на руки... Уши ломит от режущего звука, невозможно терпеть, еще миг, и лопнут перепонки. Отставила руки, сколько могла, отвернулась... Стены дрожат, потолок падает... Началось! Началось... Началось. Маленькая плакала по

вечерам, как по расписанию — с половины восьмого до девяти. Будто стихия прорывалась, как извержение вулкана, как землетрясение — полная неподвластность, буря, гроза... Вспоминалось что-то подобное, когда беззащитно стоишь под деревом, и вся — до нитки, и нет конца дождю, и бежать некуда.

Спокойная целый день и ночь, в эти часы малышка возмещала молчание. Она надрывалась, из-за плотно сжатых век сочились слезы; казалось, пеленки лопнут от судорожного крика, сломается кровать, весь дом развалится. И самое главное, не случилась бы грыжа...

Начинались уговоры, покачивание, успокаивание. В конце концов, мама сама тоже плакала.

Тут решительно подходил отец, она безропотно протягивала ему этот вулкан, отдавала эту бурю (до собственных слез девочку мужу не доверяла). Тот молча, без уговоров начинал бегать по комнате, раскачивая дочь, как на качелях, подкидывая к потолку, перебрасывая с руки на руку. Все безуспешно. (Впоследствии он сделал немалое открытие — перевернул девочку вниз лицом так, что она легла грудкой на ладонь, «как утя», удивилась и тотчас затихла.)

Но сейчас он продолжал ее раскачивать, и скоро сам готов был расплакаться, глядя на плачущую жену и надрывающуюся дочь, пытаясь отвернуться от невыразимо-резкого звука, шилом беревидшего беззащитные уши.

Вся надежда лишь на время — только оно несло избавление. Приближалось кормление.

Умывшись и отдышавшись немного, мама брала, наконец, девочку к груди.

Совершалось чудо. Без всякого перехода наступала немислимая вселенская тишина. Родители не могли прийти в себя — очумело глядели друг на друга, не веря еще, что испытание позади.

После кормления девочка засыпала.

Они медленно ужинали. Это были единственные минуты, когда мать могла позволить себе медленность...

К полуночному кормлению проснулась от яркого, почти явственного сна. Будто она сразу после родов. Лежит в темноте на каталке. В тело впивается край чашки, в которую стекает кровь. Разбитость и боль всюду, и эта боль от острой чашки — в дополнение... И нет сил пошевелиться, отбросить причину дополнительной боли... И спать хочется невозможно, а спать нельзя. И бороться со сном — тоже больно. И вдруг она понимает, что засыпает, проваливается в сон и страшным усилием заставляет себя проснуться...

Двенадцать ночи. Пора кормить. Несколько времени стоит, пошатываясь, борясь со сном. Потом кормит девочку, потом укладывает, валится сама, чугуно засыпает...

Будто молния рядом ударила.

Отбросила одеяло, села. Было ровно три часа ночи — знала, не глядя на часы...